

Геннадий
ПИСКАРЁВ



АЛТАРЬ
БЕЗ БОЖЕСТВА

Геннадий Пискарев
Алтарь без божества

«Пробел-2000»

2011

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев
ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

Пискарев Г. А.

Алтарь без божества / Г. А. Пискарев — «Пробел-2000»,
2011

ISBN 978-5-98604-284-8

Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества. Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев
ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-98604-284-8

© Пискарев Г. А., 2011
© Пробел-2000, 2011

Содержание

Путь к преображению	6
Часть I. Животворящая святыня	8
Воспоминаний длинный свиток	8
Люди в прошлое влюблены	13
Копаясь в старом портфеле	25
Кто-то проклянет...	29
Малое и великое	31
I	31
II	32
III	34
По мотивам редакционной почты	36
Часть II. Взялся за гуж	38
Величие подвига	38
Кто дважды счастлив	40
Взялся за гуж	42
У чистой воды	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Геннадий Пискарев

Алтарь без божества

© Пискарев Г. А., 2011

Путь к преображению

Предшественник великого русского мыслителя В.И Вернадского, указавшего основную цель нового творческого, духовного эона бытия ноосферы, философ-космист, называемый еще «философом памяти», Николай Федорович Федоров дерзновенно писал в оригинальных трудах о том, что развитое нравственное чувство личности требует спасения буквально всех погибших, всех утраченных. Он вел речь о возможности «воскрешения» и преображения прошлого, призывал живых обратиться сердцем и умом к минувшему, дабы не произошло одичания «сынов человеческих», превращения их в «блудных сынов, пирующих на могилах отцов». Произойди это, пишет мыслитель, и в человеке не будет не только любви, но и правды. Положение усугубится, если излишек силы, процент на капитал, полученный от отцов, употребится на невежественное слепое рождение (читай животное существование – Г.П.), а не на просвещение и на возвращение его кому следует.

Философ предчувствовал: такое вполне может случиться. И не ошибся. Невежественное теперешнее наше существование, удаление от истинного собственного просвещения поставили на грань выживания подлинного хозяина Святой Руси. Недруги наши копают под нас со всех сторон, говоря с желчью и злобой: нет, и не может быть такой нации – русский. Русский – есть прилагательное, в то время как другие нации мира определяются существительным: еврей, немец, француз, китаец. Ну, и так далее. Да, нас лишают национального самосознания, мы сейчас и не русские даже, а россияне, русскоязычные – без соответствующей записи в паспорте. Нам не дают вспомнить, что мы тоже когда-то были именем существительным, а не прилагательным. Русс! Какая это часть речи? А «гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс!» Что это?

Самодовольно погрязшие в низшей свободе, свободе метаться во все стороны, изведывать все искусства, лишенные возможности спокойного духовного общения, подспудно мы все-таки чувствуем гибельность навязанного нам образа жизни. Раздробленное, расколотое государство, разбитые вдребезги совесть и честь не соединенных общим делом людей, не могут стать залогом поступательного движения.

«Действительно спастись, то есть возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми» (Н. Ф. Федоров). Обратим внимание в этой глубокомысленной фразе на слово «возродить». Возродить – значит восстановить, что было когда-то. «И Бог воззовет прошедшее» (Екклесиаст). Он сделает это без нашей помощи. Но в том-то и величайшая милость Всевышнего: он позволяет сотворенному из праха человеку соработничество с Собой. Грех, непростительный грех, не принять сие от Творца всего сущего.

Собрав свои скудные силы и возможности, попытался и я оживить свою память, поведать хотя бы о том, чему был свидетелем сам или слышал от старших товарищей, родных и близких, тех, кто нес в душе любовь к Отчизне, божество общего дела, наполняя, украшая тем самым главное место в Христовой церкви – алтарь.

Понимаю, насколько ничтожна тут лепта моя. Но, отойдя от высокомудрых мыслей, поведаю басню, которую рассказала мне, кстати, младшая дочка Наташа, представительница времени нового. Что, в общем-то, весьма симптоматично.

Ежик пришел к Сове, попросил объяснить, к чему у него чешется передняя левая лапка? Сова объяснила. «А правая?» – спросил колючий. И на это ответила мудрая птица. «Но у меня и задние лапки чешутся», – продолжал донимать Сову незадачливый зверек.

Что же сказала на это «толковательница примет»?

– Помойся, ежик.

Может, и нам всем следует помыться, смыть «мерзость запустения», почистить себя, пусть не под Лениным, как это делал Маяковский по собственному признанию, а под более мощными и благодатными «энергетическими струями», без коих и Земля бы была мертва. Как (непотребная) пустыня.

(Последняя строка, не правда ли? – что-то пушкинское напоминает. Сравнивая нечеловеченную, а стало быть, и бездуховную планету нашу с пустыней, поэт-пророк не дал ей в миниатюрном шедевре своем нужного определения, поставил перед словом пустыня многоточие. Да, простит Александр Сергеевич мне наглость и самомнение – я окрестил, как видите, пустыню непотребной. А, может, и нет в том ничего крамольного? Ведь я рискнул назваться, хотя и ничтожным, да соработником Бога. И Он не отверг, кажется, моего намерения).

Геннадий Пискарев

P.S. Название книги «Алтарь без божества» – (должен предупредить читателя) есть по большому счету антитеза содержанию общего повествования, в ходе которого оперирую больше фактами добрыми и благочестивыми, несмотря на то, что они имели место в советской стране и были вызваны к жизни соответствующим режимом.

И еще. Говоря о единении людей того времени, их победах в битвах за урожай ли, или за высокие показатели в соцсоревновании, я не убираю из материалов цифр, подтверждающих достижения в производительном труде. С них, с этих достижений, начинались в ту пору все новостные передачи на телевидении, радио, в печати. С них – а не с леденящих, разрушающих волю и душу сообщений о непрекращающихся катастрофах теперь.

Часть I. Животворящая святыня

*О, года! – серебряные нити,
Не одной из вас я не порву.
А, напротив, сердцем к вам приникну,
Жизнь вторую с вами проживу.*

Г.П.

Воспоминаний длинный свиток

Как трудно с годами писать четко и ясно, с твердым, не подлежащим сомнению, твоим собственным представлением о том или ином явлении, событии, человеке. Вероятно, это происходит от того, что жизнь подошла к определенному пределу и в этот момент, как давно уже говорят старые люди, она в одно мгновение пробегает перед глазами. В стремительном калейдоскопе мелькают картины доброго и злого, высокого и низкого, безудержно веселого, радостного и страшно-тоскливого, отчаянного – всего того, что, как амплитуда, колебалось в мятежной душе не протяжении не простого жизненного пути.

И все-таки даже в это смутное время возьмет да и посетит тебя счастливый миг, когда прошлое встает очищенным от всевозможных мерзостей и пакостей. И тогда начинаешь понимать смысл слов, сказанных Оноре де Бальзаком, что воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не сможет изгнать. Точно: воспоминания, память, это уже мое утверждение, как вдохновение поэта, величавы и искренни и, как духовный порыв, чисты и бескорыстны.

Как часто всплывает в воображении моя родная деревенька Пилатово с ее простодушными жителями, бревенчатыми серыми избами, от которых веяло какими-то древними поверьями, где зарождались некогда народные песни и сказки, загадки и былины. Как вожатый из пушкинской «Капитанской дочки», она возникает перед моими глазами то из-за плотной пелены падающего с небес и вихрящегося в метельном танце снега, то в курящейся синей дымке жаркого лета, когда она, стоящая на взгорке, под проносившимися над нею белоснежными облаками, кажется, плывет в необъятную небесную ширь и высь – к Богу.

Видится отчий дом с прикрылечным темным колодцем, со дна которого можно было узреть небесные звезды в яркий солнечный день. Слышатся порою таинственные шорохи и ощущаются таинственные тени, падающие от ликов святых, что смотрели с почерневших икон, озаряемых колеблющимся желтым светом, исходящим от зажженной перед ними посеребренной лампады. А то вдруг стиснет сердце цепеняще-тревожный трепет – страх, какой одолевал в вечерние часы при чтении в одиночестве гоголевского «Вия» или «Страшной мести».

Я вижу горящую в алмазном убранстве березу, двурогий месяц над покатою заснеженной крышей картофелехранилища, с которого отчаянные парни скатываются лихо на тупоносых охотничьих лыжах вниз. А мне, смотрящему на них через разрисованное морозом окошко, кажется: не с крыши слетают ребята, а непосредственно с позолоченного лунного диска.

Нет теперь обители детства, колыбели души моей – отчего дома и укутанной маревом таинственных видений родной деревни с непонятным названием Пилатово, отмечав-

шей свой престольный праздник ежегодно 10 августа, называвшийся (также непонятно для меня) – «Смоленская».

Воспитанник осовеченной школы, я в ту далекую, детскую пору не думал, конечно, о происхождении этих названий. Только впоследствии, когда приехал на учебу в Москву, обожгло меня при посещении Новодевичьего монастыря открытие: я увидел там храм преподобной матери Смоленской – Святой девы Марии, давшей по Божьей воле земному миру Бога-сына – Иисуса Христа. И начали в моем сознании облекаться в некую логическую цепочку странные мистические явления, например, что отец мой, как и несколько десятков односельчан, погиб во время Великой отечественной войны не где-то, а под городом Смоленском, от которого целым остался после кровавого урагана (по свидетельству матери, побывавшей там) только один почерневший, грозно-величественный, стоящий на высоком холме Смоленский кафедральный собор.

А что, если и Пилатово каким-то дивным корнем связано с именем прокуратора Иудеи (римской провинции) Понтием Пилатом, обрекшим за грехи людские на мучительную казнь более двух тысяч лет назад Бога-сына. Да, быть такого не может! О, чего только быть не может на белом свете. Вон через поле от нашей деревни стоит старинно-русское, с исконно русскими людьми поселение Глебовоское, верхняя часть которого носит сугубо татарское имя «Курмыш». Конечно, татары здесь были, не тысячи лет назад, но все-таки, все-таки...

«Божий дух гуляет, где хочет». Это утверждение евангельское.

*Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины.*

Так писал «старик Державин». И подтверждение сему нахожу я порою, извините за нескромность, в собственной нескладной, грешной, а где-то прямо таки мистической судьбе. Мне 10 лет. Хожу в четвертый класс. Бабушка Варвара Ивановна, 21 ноября ведет меня насильно к обедне в храм Архангела Михаила – архистратига Христова воинства, что находится в пяти километрах от нас в селе Контеево. Потом я, Гена Пискарев, руководствующийся воспитанной во мне лютой самокритичностью, сам про себя напишу разоблачительные стихи в стенгазету.

*По улице гуляет
Ветерок-проказник,
Отсталый люд справляет
Религиозный праздник.*

Однако, не напишу я о том, как в церкви, дивясь красоте алтаря, очаровавшись ангельским пением женского хора на клиросе, незаметно для всех давил на лбу выскочивший прыщ. После обедни пришли мы в гости к бабушкиной сестре Матрене Ивановне, невестка ее, кареглазая, острая на язык женщина, увидев красное пятно на моем лбу, язвительно молвила: «Вон, как Генка Богу-то молился, аж лоб расшиб». Посмеялись.

Поздно вечером, в потемках возвращались домой. Я, бабушка и мать моя – Мария Михайловна. Спустились в овражек. И не заметили, как со склона его сиганула сзади на нас тройка лошадей, запряженная в «пошовежки», на которых валялись пьяные мужики. Мчащиеся взмыленные лошади разметали по сторонам бабушку, мать, а я, сбитый коренником, оказался под полозьями «пошовежек». Истошные крики матери и бабки не были услышаны развеселой братией. Тройка неслась, не сбавляя ходу, вместе со мной, зажатым под днищем. Я ничего не помнил. Очнулся под Глебовским, на краю дороги, вывалившимся из-под опрокинувшихся санок вместе с хмельными ездоками. Бугристая, избитая колеями, чуть припо-

рошенная первым рыхлым снегом земля. И мать, неведомо откуда получившая силы, чтобы гнаться за разгоряченными лошадьми более двух километров, настигнуть их и перевернуть повозку, откуда я должен бы вывалиться не иначе как разбитым вдребезги. Но я бодро поднялся на ноги, на мне не было ни одной царапины, не случилось, видимо, и сотрясения. Чудо? Скажите, что нет.

Но какой ангел-хранитель, прикрыл меня крылом своим, за что оказал такую милость архистратиг Михаил, в храме которого утром стоял с бабушкой Варей?

Странно, но эту историю я вскоре забыл и вспомнил лишь через 11 лет – 21 ноября. Мы, гвардейцы-таманцы, глубокой ночью возвращались с армейских дивизионных учений в свою воинскую часть. Я вел плавающий танк «ПТ-76», позади башни которого, на прогретой броне трансмиссии, под брезентом дрых безмятежно десант. Каким-то образом мы выскочили на асфальтированную трассу. Движения никакого. И мы рванули по ней. Кстати «ПТ-76» может развивать бешеную скорость – до 60 км в час на пересеченной местности. А тут асфальт. Выскочили на мост – за ним крутой поворот. И вдруг чуть ли не в лоб откуда-то взявшаяся машина. Резко зажимаю фракцион правого поворота – и танк мой, многотонная махина, со скользкого асфальта летит под откос насыпи, проделав боковой переворот, называемый у летчиков иммельманом. Десант, как грибы из лукошка, сыплется на мерзлую землю. Меня инерционная сила отбрасывает с сиденья водителя на аккумуляторные батареи – спасает голову ребристый шлемофон, а тело – упругая меховая куртка. В воздухе с танка слетают гусеницы и, перевернувшись, он падает на дно откоса «разутый», катки глубоко вязнут в земле, что и гасит возможное дальнейшее вращение, даруя тем самым всем нам дальнейшую жизнь.

Это было, вероятно, не только спасение – предупреждение: умерь гордыню, задумайся, уясни, что же ты делаешь, не сообразуясь с великими принципами человекостояния – добра и совести на этой земле. Молодой, горячий, подкованный марксизмом-ленинизмом, разумеется, лично я в ту пору не больно-то размышлял над происходящим, над странными этими случаями. Где мне было знать тогда, что и «случай есть мощнейшее мгновенное проявление божественного проведения».

Это сейчас, когда заново пришлось прочитать Пушкина не по школьной и даже не по университетской программе, кое-что дошло до меня. (Чтобы полностью понять Александра Сергеевича надо быть гением – мысль С. А. Есенина), и я вслед за поэтом-пророком твержу:

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь и горько слезы лью;
Но строк печальных не смываю.*

И не смыть. Когда душа просится к Богу, вспоминается и этот случай из детства. После проливных ливней река Кострома, что течет рядом с нашей деревней, чуть ли не выходит из берегов. Я, мечтавший стать моряком, демонстрирую одноклассникам, им 7 лет, свою удаль и ловкость – бросаюсь бесшабашно в крутящуюся реку и плыву к противоположному берегу. Достигнув его, поворачиваю обратно. И где-то на середине пути чувствую: плыть дальше нет сил. Кричу, захлебываясь. Одноклассники, стремглав, разбегаются по домам. Но откуда-то взялся Леша Петрухин, недавно вернувшийся из военного госпиталя, где залечивал фронтовые раны. Какие, мы не знали, но рваный шрам, пересекающий Лешино лицо ото лба до подбородка, даже нас, ребяташек, приводил в ужас. И вот этот полуживой человек кидается ко мне, барахтающемуся в водовороте, и вытаскивает за волосы на берег.

Он скор умрет – дядя Леша Петрухин, в сельской больнице. Заводил рукояткой трактор ХТЗ, компрессией рукоятку рвануло в обратную сторону и упал механизатор на сырую землю без чувств... Неокрепший организм простыл. И... А, может, простыл он немного раньше? О, Господи, прости меня грешного, «хвалившегося» перед ребятами деревни, что выплыл я сам (свидетелей-то не было), а Леша Петрухин пришел на реку удить рыбу.

*О человек!
Черта начальна Божества...
Откол е произошел? – безвестен.
А сам собою быть не мог.*

Это цитата из грандиознейшей оды «Бог», изучаемой на всех философских факультетах мира, кроме наших отечественных. Автор – екатерининский солдат, действительный тайный советник и многих орденов кавалер, выходец из крестьянского сословия, упомянутый выше Гавриил Романович Державин, благословивший, «сходя в гроб», «наше все» – А. С. Пушкина.

Сколько же было в деревеньке моей рядовых сельских тружеников, копающихся вечно в земле, и навозе, великих умов и высоких душ. Но мы, (и я, в частности) племя молодое, незнакомое, говоря словами гения, верили только славе и не понимали, что между нами, «может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствующий ни одною егерскую ротую, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе».

Запоздало, увы, пришло ко мне понимание и признание величия «родового гнезда», о котором, ушедшем, уже в небытие (причины темны и загадочны, как убийство С. А. Есенина, судьба коего, считаю, есть олицетворенная тайна бытия и умирания многострадальной Родины нашей), написал цитированные в первых своих книгах стихи.

*Великое мое Пилатово –
Деревня в двадцать пять домов.
От поезда с разъезда пятого
Я вновь бежать к тебе готов,
Учуять дух тепла коровьего,
Увидеть за рекою лес
И липы дедушки Зиновьева,
Что держат свод седых небес,
Как дедко Павел, глаз слезящийся,
В углу иконам бьет поклон.
Над образами нимб светящийся,
Но то не нимб, а шлемофон
Танкиста, заживо горевшего.
Прости, Архангел Михаил:
Твой лик на фото сына грешного
Старик в божнице заменил.
Какое вещее деяние
В крестьянской рубленой избе –
Земных, небесных сил слияние
В страданье, вере и мольбе.
О Русь моя! Тебя оплакивая,
В Москве, сквозь злато куполов
Я зрю великое Пилатово,*

*Святых и грешных земляков.
Пока вы были, смерды, пахари,
Цвела страна моя, но вот
Не стало вас. Россия ахнула
И покачнулся небосвод.
А я, кого лишь ваша силушка,
Уже последняя, поди,
К верхам из грязи в князи вынесла,
Застыл, и боль горит в груди:
В деревне родной липы спилены.
Потомства не от кого ждать.
И кто ж теперь даст снова силы мне?
И мне свои кому отдать?*

И грызет сожаление, совесть, что не смог (не созрел в свое время умом и сердцем) рассказать о судьбах крестьянствующих односельчан, записать великорусский говор, яркий, мудрый, своеобразный, богатый великими смыслами, отливающий необыкновенными оттенками чувств, человеческой красоты.

Ах, если бы была жива та деревня и я бы, не давний с наивной душой мальчишка, а отесанный грубым рубанком жизни мужчина, смог бы встретиться с ней. Я положил бы к ногам ее все, что скопил-приобрел за долгие годы, и что делал, уверен теперь, лишь бы только добиться признания ее и одобрения. Её – и никого больше.

Люди в прошлое влюблены

Зимнее раннее утро. Базарные ряды на площади нашего районного центра Буй-города. Того самого, упомянутого еще А. Н. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: – «Кабак, тюрьма в Буй-городе». В эту тюрьму посадили некогда Савелия-богатыря святорусского за то, что он «немца Фогеля живого закопал». А нынче вот крестьяне из окрестных деревень распродают здесь привезенную с личных подворий снедь: картошку, морковку, лук, свеклу и прочее, прочее. В колхозе денег не платят, а налог государству и страховка исчисляются в денежном выражении. Да и ту же телогрейку, портки и рубашку не купишь за просто так. Стало быть, и толкуются крестьяне-колхозники каждый базарный день, а это четверг и воскресенье, не дома в деревне, а в городе. Нередко и мы, крестьянские дети, составляем компанию родителям своим, стоим за прилавком.

Я, кстати, восьмиклассник, человек уже образованный, знающий, зазываю сейчас горожан на свою сторону (мать побежала до промторга, где выкинули дешевенький ситец), объясняю городским покупателям вдохновенно и увлеченно сколь полезен для сердца, зубов и желудка товар мой – отборный чеснок. В азарте не замечаю, что кто-то, стоя неподалеку, в сторонке, внимательно наблюдает за мной, бойким просвещенным торговцем. Кто-то – школьный учитель истории, Борис Иванович, приехавший в город, чтобы посмотреть в кинотеатре «Луч» новый художественный фильм (когда-то еще дойдет он до нашего глухого края), посетить районную библиотеку, посмотреть журналы, газеты.

– Ну и ну, – не выдерживает школьный историк, подходя к ученику, т. е. ко мне: – ни дать ни взять: Алексашка Меньшиков.

Борис Иванович, до кончиков ногтей городской человек, романтично настроенный, присланный в школу нашу по распределению, видел окружающую сельскую действительность в розовом цвете, но нами был очень любим, любим за открытость, душевность, за умение с юмором, а не с ожесточением смотреть на наши проказы, граничащие порой с хулиганством. Помню, мой одноклассник, Юра Колесников, отвечал на уроке на вопрос, какие-такие жесткие меры предприняли впервые в истории для населения англичане во время Англо-бурской войны? Юра, вообще-то знает, что это было создание каких-то небывалых до селе лагерей, но выговорить замысловатое слово не может, и вместо лагеря концентрационного у него получается концентрический. Все хохочут и учитель вместе со всеми. Утирая слезы, он обращается к Юре:

– Что же мне делать с тобой, Колесников?

– Да посадите его в концентрический лагерь – и вся недолга, – язвительно подсказываю я. Новый взрыв хохота. А учитель? Учитель тоже, похоже, по достоинству оценил предложение-шутку. Ни нотаций не стал читать мне, ни одернул грубо.

Мне вспомнился наш историк, однако не потому, что окрестив когда-то меня Алексашкой Меньшиковым, он как бы предрек судьбу мою, что с непонятной, незримой, космической силой вела замурзанного деревенского мальчишку к высотам государственного управления (последняя должность моя – начальник отдела Администрации Президента России – ведь это не шутка), – я вспомнил Бориса Ивановича как прототипа своего в какой-то мере по характеру и взглядам на захолустную деревню. Я, как это ни странно, смотрел на «селянскую» жизнь с улыбкой, влюблено и романтично, хотя сколько там было всего – грязного, грубого, спорного.

...Ходит по утрам, наряжая на работу колхозников, пьяненький бригадир дядя Паша Виноградов. А пьяненький-то дядя Паша почти всегда. Наверное, глядя на него, разразиться бы надо гневной тирадой, но нет, умиротворенно смотрю я на бригадирскую слабость, вспоминая слова жены его, тетки Лиды:

– Когда мой Паша умрет, его без бальзамирования, сразу можно положить в мавзолей – проспиртован.

Другой фигурант: Вася Коромыслов, напился, свалился в заиленный пруд. Вытащили его, сняли грязную одежду, обрядили во что пришлось: сухие ветощаненькие штаны, в залатанный пиджачишко:

– Иди, иди домой, Вася, жена будет ругаться, скажешь: не пропил, мол, не прогулял, новый костюм приобрел.

Проиленную одежду гуляке завернули в газету, с чем под мышкой и плелся он по деревне под веселыми взглядами соседей, приговаривавших:

– Свой-то костюм бережет Василий, в газетке носит.

А вот другая картина. Мишка Кашин (по прозвищу «Крепкий»), деревенский удалой гармонист, после шальной гулянки в соседнем селе возвращается зеленым лугом домой. На лугу – деревенские гуси. Мишка ловко цапает одного. Открывает крючки на планках гармошки (крючками к планкам крепятся мехи музыкального инструмента), ловко засовывает гуся в ребристую полость. Защелкивает крючки и, пилякая какую-то мелодию, спокойно проходит мимо хозяйки «гусиного стада» в сторону овинов, где муж той же хозяйки, Иван Куков, топит специальные печи для просушки зерна.

– Иван, – окликает его блаженно Мишка, – ставь бутылку, будем гуся жарить.

Спустя некоторое время, Мишка и истопник урчат, как жирные коты, над запеченным гусем. Выпивают, закусывают. Иван похлопывает лихого гармониста по плечу:

– Ох, Мишка, ох, плут.

А вечером дома слышит он стенанья хозяйки: гусь пропал. Тут до Ивана доходит: ведь он его с Мишкой-прохвостом съел. Скормил своего гуся, да еще и бутылку нахалу за это поставил.

Тут вообще-то мне хотелось бы сделать некое отступление – сказать свое слово о дружбе с «зеленым змием» односельчан моих в середине 20 века и жестоком алкоголизме, поставившим на грань вымирания народ наш, теперь. Я не оправдываю тех, кто пил тогда, не ставлю в пример их сегодняшним, потерявшим человеческий облик пленникам «свирепого джина» Мне хочется сказать, что в моей деревне, к примеру, абсолютно не знали до начала сороковых годов горячительных напитков – о самогоне слыхом не слыхивали. Пиво – солодовое, домашнее, темное, очень близкое по качеству и свойствам к средневековой медовухе, да, варили. Делалось оно (хорошо помню дедовскую технологию) так. Сначала проращивалось ячменное зерно. Когда оно набухало, давало росток, входило, что называется, в пору особой жизненной силы, его подсушивали и мололи. Получался солод – основа пивной закваски.

Этот солод укладывали слоями в огромные глиняные горчаги, чем-то напоминающие греческие амфоры или кавказские винные кувшины – только без узкого горла.

Дно горчаг устилали ржаной соломой, которой потом перемежевали и слои солода. Содержимое заливали чистой водой, взятой из самого глубокого в деревне колодца. В каждую горчагу заливались, примерно, около двух десятилитровых ведер жидкости. Затем горчаги ставились на ночь на кирпичный «под» протопленной печи. Пиво варилось. Сваренным его поднимали на «желоба» – длинные тесины с продольными углублениями, которые ставились наклонно на деревянные подставки. У горчаг внизу были отверстия, кои затыкались при варке. А после установки емкостей на желоба – их выдергивали, и сваренная густая консистенция, называемая суслом, стекала в подставленный под тот или иной желоб лагун – огромную деревянную бочку, заклепанную снизу доверху. Наверху лагуна находилось небольшое отверстие, через которое в бочку засыпали ягодные дрожжи и головки хмеля. Хмель у нас рос диким образом по берегам реки Тёбзы. Но деревенские пивовары предпочитали хмель выращивать сами на огородах. Помню, почти у каждого хозяина сто-

яли, как воткнутые пики былинных дружинников, высокие шесты, обвиваемые зеленым, с терпким запахом, растением.

Сусло в лагунах бродило, пена «каблуком» рвалось наружу через отверстие наверху.

Кстати суслom, несброженным, угощали в праздники и нас, ребяташек.

Не было лучше лакомства. А перебродивший напиток (пиво) подавался гостям, к застолью. Подавался в деревянных ковшax – «братинах», которые шли среди гостей по кругу. Кстати, хмельная влага не будоражила психику людей, не рвала душу, не погружала ее в отчаянную злобу или депрессию – она пробуждала в человеке какое-то миролюбие, желание повеселиться, потолковать с соседом. О, сколько интереснейших разговоров удалось мне подслушать за такими застольями в детстве! Записать бы их, да ума не хватило, воспроизвести сейчас – не один бы, свой уже, «Тихий Дон» можно было создать.

После пивного охмеления человек обычно спокойно засыпал, а поутру совершенно не испытывал специфического синдрома.

Горчаги снова заливались водой. Содержимое, выдержанное в них, шло в дело тоже, – превращалось в квас, великолепный, ядреный, шибящий в нос. Его еще приправляли протертым хреном.

Самогон пришел к нам после войны, оставшиеся в живых бойцы, инвалиды без рук, без ног, с ранениями головы глушили физическую и душевную боль суррогатным крепчайшим пойлом, к которому посредством «наркомовского пайка» приучились еще на фронте. «Ох, война, что ты сделала, подлая...»

Молодое поколение, родившееся в конце 30-х годов, кумирами коего были фронтовики, увy, неосознанно, но потянулось тоже к «злодейке с наклейкой». То была, правда, пора, когда водка пилась, говоря словами Твардовского, не потому что хороша – для славы. Не испорченный ранее, с хорошим генофондом народ не узрел тогда в этой вползающей в светлое нутро русского человека беспощадной, разрушительной силы, равно как спустя несколько десятилетий, не поняли мы в начале великой беды, творимой оголтелой демократией.

Над выходками пьяниц, мы частенько в те, не столь далекие времена просто подшучивали, рассматривали их как анекдот какой-то, не судили строго. И сами, попадая в хмельные переплеты, не очень-то переживали и раскаивались.

Но лиха беда – начало.

Люди, в организмах которых от рожденья дремал ген алкоголизма, расчесав его, как рану, стали довольно быстро спиваться, гибнуть. Те же, кто не носил в себе коварного динамитного заряда, опустошали тело и душу постепенно, долго, а пока продолжали под снисходительные взгляды окружающих куролесить, веселиться, вовлекая в свой круг все большее и большее количество «непосвященных». Вскоре стало казаться, что эти граждане составляют как бы ядро общества, правят им – как лидируют ныне в определенных высоких сферах люди нетрадиционной половой ориентации на Западе. Да и застолья на всех уровнях становились нормой, а напоить, скажем, приехавшего большого начальника на предприятие ли, или в регион вменялось чуть ли не в обязанность подчиненным. Противиться этому не хватало никаких сил. Да что там, депутат Верховного Совета СССР, трезвенник, старовер, Герой Социалистического труда, гремевший на всю страну полевод Терентий Мальцев, получив для реализации в особой секции ГУМа список продовольственных товаров, увидев, что среди них разных сортов водка значится в десяти позициях, ринулся с этим списком ни к кому-то – самому Генсеку ЦК – тогда Юрию Андропову. Тот, взглянув на алкоголизированный перечень, удивился немало, поинтересовался: сколько же вообще у нас в стране потребляется этого спирта на душу? Ему привели статистику. Генсек многозначительно посмотрел на Терентия, который лишь прошептал:

– Господи, Юрий Владимирович, страна-то у нас под наркозом. Не пропасть бы, как империи Майя.

И меры для спасения нации, советского народа стали немедленно приниматься. Сорвал их неразумными действиями перестройщик-катастрофщик «Лимонадный Джо», отмечающий юбилейные даты свои теперь не в родном, преданном им Отечестве, а за рубежом, у «заклятых друзей».

Оглядывая свой собственный жизненный путь, карьерный рост с сожалением приходится констатировать, этапы большого пути сопровождались, увы, попойками, тесным общением с людьми пьющими и наливающими. Вначале все это смотрелось, повторю, забавно и весело.

Вспоминаю момент зачисления меня, корреспондента районной газеты, в штат областного партийно-советского печатного органа. Редактор Александр Бекасов (Албек, так называли его коллеги-журналисты) беседует со мною прежде, чем отдать соответствующий приказ.

– Последний вопрос, Геннадий, водку пьешь?

Что ответить? Сказать, что не пью, не поверит, Признаться, что употребляю – можно и повредить себе. Мнусь, пожимаю плечами:

– По обстоятельствам, Александр Петрович.

Бекасов с интересом глядит в мою сторону и вдруг дает вводную:

– Посылаем мы тебя, скажем, освещать ход отчетно-выборного собрания в колхозе. Там по окончании, конечно же, организуют ужин, корреспондента пригласят, разумеется. Будет выпивка. Каковы твои действия в таком случае?

– Сяду рядом с большим начальником, – соображаю я быстро, – и стану смотреть, как он поступает. Выпьет рюмочку и я выпью.

– А если он выпьет вторую?

– И я вторую.

– А если третью? – Албек вскидывает брови.

– И я третью, – подхватываю, не моргнув глазом.

Редактор в смятении продолжает:

– Ну, а если он четвертую выпьет?

Я хитро улыбаюсь и, не торопясь, произношу:

– Вот тут мне надо подумать.

– Правильно, – радостно поддерживает нового находчивого сотрудника Александр Петрович. – Думай, у начальника-то машина есть, а у тебя нету.

Вечером на берегу реки Оки в шалмане «Голубой Дунай», в каждом городке были подобные заведения тогда, обмываем с коллегами, старшими товарищами мою новую должность – собкора областной газеты. Рассказываю о беседе с редактором. Коллеги-наставники внимательно слушают, и когда в рассказе дохожу до того места, где ограничиваю себя в выпивке четвертой рюмкой, Вася Шапкин, матерый журналюга, с рубильником-носом назидательно произносит:

– Гена, норма областного корреспондента литр.

Надо, однако, сказать: в областной газете решил я начать новую жизнь, от выпивок всячески уклонялся. И вскоре новые сотоварищи пожаловались на меня моему бывшему редактору из районной газеты.

– А твой протез и не пьет вовсе.

Кузькин Михаил Гаврилович (литературный псевдоним Михаил Воронежский), мой недавний непосредственный начальник, в компании с которым пришлось провести немало развеселых минут и часов, нашелся-таки, что ответить на «укоризну»:

– Это я ему не велел. – Произнеся сие весомо и влиятельно, он, как понимаете, и меня не подвел и себя не опустил.

Поэт милостью божьей, член Союза Писателей СССР, рецензии на творчество которого писал в центральной прессе даже Виктор Астафьев, очарованный его даром (да и как не плениться такими, скажем, стихами:

*«Прикосновения ладони,
Боящиеся, словно ос,
Весною в степи рвутся кони,
Туда, где травы в полный рост»), –*

Михаил Гаврилович, как и многие широкие, поэтические натуры был, чего греха таить, слабоват по части горячительного. Много знающий, обладающий неиссякаемой фантазией, где реалии, как в рассказах лицейского друга А. С. Пушкина – Кюхельбекера, зачастую тесно сплетались с невероятно похожим на правду вымыслом, в который он верил и сам – Кузькин-Воронецкий был главной фигурой на всех творческих вечерах, встречах с писателями, устраиваемых тогда в огромном количестве и на предприятиях, и в колхозах, и в совхозах. Благодаря тому же Кузькину, имевшему массу друзей среди поэтов, к нам в Медынь (там располагалась районная редакция газеты «Заря», где мы работали) на «лоно природы» частенько приезжали столичные знаменитости. Безусловно, их тут же «брали в плен» директора то ли нашего льнозавода, леспромхоза, или какой-либо сельскохозяйственной артели. Начальники вели «пленников» в клуб – в массы, и начинался общий праздник с обильным хлебосольем, откровениями-выступлениями. Тогда еще вездесущими представителями особого рода деятелей далеко не везде были созданы платные, прибыльные только для них, многочисленные агентства по пропаганде литературных знаний, и те же писатели, приезжавшие к нам, довольствовались в основном радушием и обожанием народа. Но, вероятно, это стоило дорого. Помню, я тогда уже работал в областной газете, как «нарисовался» у нас в Калуге агент-пропагандист с особым нюхом на шальную деньгу Александр Гольдберг и как Анатолий Ткаченко, известный литератор, проживающий в городе атомщиков Обнинске, нутром почуяв, во что будут превращены бывшие безденежные, душевные встречи с тружениками, простыми людьми (в клон бездуховного агитпропа), заявил в сердцах и по поводу предпринимателя-просветителя: «Пока этот деляга крутится в калужском писательском отделении, – я туда ногой не ступлю».

Но все это будет потом, а сейчас председатель колхоза имени Ильича Иван Петрович Гуч с клубной трибуны голосом Левитана, манерно, торжественно объявляет собравшимся здесь односельчанам:

– Друзья! К нам приехали в гости великие поэты современности Старшинов Николай, Воронежский Михаил, – косится в мою сторону и, ничтоже сумняшеся, столь же высокопарно добавляет, – Геннадий Пискарев.

Публика распрекрасно знает Геннадия Пискарева: мои заметки в райгазете – под собственной фамилией и под псевдонимами печатаются в каждом номере по несколько штук. Так, выходит, Пискарев-то еще и великий. Девчонки-селянки не сводят с меня, холостяка, восхищенно-влюбленных глаз. Ко всему в распространяемой тут же «Заре» напечатаны стихи колхозного агронома, грузина Нукзара Папашвили, отрабатывающего после окончания Тимирязевской академии положенный срок в медыньском хозяйстве. Под стихами написано: перевод с грузинского Геннадия Пискарева. Да... Не каждое девичье сердце устоит перед этим. Милые простушки, где им догадаться, что в грузинском языке я ни бэ, ни мэ, а стихи с начала до конца написал без подстрочника, уловив просто напросто смысл, заложенный в них грузином Нукзаром.

Но, тем не менее, и собравшиеся, и мы в эйфории. И более всех, кажется, Михаил Гаврилович. Слышу: в следующий раз он обещает колхозникам привезти на встречу с ними, ни много, ни мало, – самого Юрия Гагарина.

– Я с ним, если хотите знать, – вещает разговорившийся редактор районки, – на днях, будучи в Москве, выпивал. Да, да, сидели мы в гостинице с другом моим, комендантом Кремля, чего-то скучно стало, он и говорит, позову-ка Юру сюда. И позвал. Тот быстренько подскочил, тяпнули по стакану, по второму, третьему. По четвертому наливаю, Юрий деликатно останавливает: «Извините, я сейчас на встречу с пионерами еду. Буду в Медыни – погуляем».

Ясное дело, не приехал Гагарин к Кузькину, но рассказ его потряс тогда всех. И потом, где бы ни появлялся мой начальник, зазывали его в гости весьма убедительно: «Миша, заходи, Гаврилыч, дорогой, ну, хоть соврешь, не дорого возьмешь, душу порадуешь».

После нередких таких радований приходил редактор поутру в свое заведение сильно «смурной». Мой стол, ответственного секретаря редакции, находился перед его кабинетом. Кузькин шагал мимо, не глядя в мою сторону. Из кармана брюк Гаврилыча, бывало, торчала бутылка – для опохмелки. Ловким движением бутылку эту я незаметно выуживал. Через некоторое время из кабинета руководителя раздавался вопль:

– А-а-а, редактора не уважают, водку воруют!

Приходилось идти, отдавать заветную. Кузькин добрел, созывал планерку. Наскоро проведя ее, подносил всем и себе по стаканчику. По второму каждому уже не хватало. Кого-то, стало быть, надо было «уволить». Лучше всего это можно было сделать посредством посылки отчисленного в командировку. При этом аванс, полученный в бухгалтерии, по не писанному правилу сдавался «буфетчику» – Ивану Уткину, заведующему отдела писем редакции, в прошлом директору Медынского молокозавода, проштрафившемуся в чем-то, но из «обоймы» райкомовской номенклатуры не выкинутого. А аванс на командировки являлся основой специфического фонда, хранителем и распорядителем коего значился «буфетчик» Уткин.

Однако, кого послать в командировку в данный момент в ближайший колхоз, на проезд куда денег тратить не нужно: – можно пешком идти, а пообедать и поужинать у гостеприимных селян? Выбор падал, как правило, на самого молодого сотрудника – Гену Харлампиева. Кузькин поторапливал: «Давай, давай, Геннадий, иди, не мешкай». Геннадий, вожацеленно поглядывая на остаток спиртного в бутылке, не торопился, надеясь на «посошок». Наивный малый, никак не мог «дотумкать» он: его потому и отсылают в колхоз, чтобы оставшимся здесь побольше досталось.

Неспешность Гены гневил редактора. В конце концов он не выдерживал и грохал кулаком по столу:

– Да ты пойдешь в командировку или нет!?

Видя, что ничего «не выгорит», Харлампиев понуро плелся к двери.

Гену в редакцию взяли за стихотворство, а так до этого, числился он разнорабочим на мебельной фабрике. Помню, обмывали его вхождение в творческий, богемный коллектив. Выпили, что было – не хватило. «Гена, беги». Магазин напротив редакции. По типу сельмага продается в нем одним продавцом все имеющиеся товары – от керосина, гвоздей, сигарет и спичек до хлеба, сахара и вина. Рядом с торговой точкой райком партии. И надо же было случиться: в то самое время, когда снарядили мы Гену за водкой, в лавку заглянул первый секретарь РК КПСС Виктор Степанович Анискевич: кончились у него папиросы. Люди, стоявшие в очереди, кто за чем, почтительно расступились, что возмутило нашего нетерпеливого работягу-гонца, болтавшегося в конце и не знавшего, увы, в лицо главного районного начальника. Гена поднял, что называется, «хай». Анискевич оторопел:

– Я штучный товар беру: папиросы, – как-то обескуражено стал он оправдываться.

– Мне тоже штучный товар нужен – бутылка, – моментально дерзко парировал глашатай справедливости.

– Ну, что же, берите, а я потом, – Анискевич виновато попятился от прилавка.

Чем правдоруб Гена незамедлительно воспользовался, чуть ли не вырвав из рук у растерявшегося продавца злополучную поллитровку.

Только мы разлили ее, как у Кузькина зазвонил телефон. Звонил первый (он проследил, что было нетрудно, куда шмыгнул нахаленок):

– Михаил, это у тебя, что ли работает рыжий черт?

Да-а-а... Пассаж. Оргпоследствий, тем не менее, из всего этого не последовало. «Отец Виктор» – так звали в народе первого секретаря Виктора Анискевича (между прочим жил в Медыни еще один «Отец Виктор» – тезка партбосса – настоятель местного храма), знал натуру людей, с коими вместе шел в светлое будущее, знал, и палки в работе с ними не перегибал. На этом уровне партия и народ были в ту пору едины все-таки. Можно назвать сие как угодно – всепрощением, вседозволенностью, но... Начав свое повествование с размышлений о пристрастии советских людей к «горячительному», начав, как говорится за упокой, и продолжив будто бы за здоровье – обязан заметить, что пили наши люди на том этапе развития своего, в отличие от нынешних времен, не от отчаяния, не от жестоких проявлений постоянно преследующей всех и вся катастрофы, а от избытка жизненной энергии, внутренней уверенности: живется не плохо, а вскоре станет – лучше. То было наше время и кругом находились в основном наши люди.

Затем, когда грянула черным громом беда – катастрофка, люди, помня, как налаживали они гармонию в душе посредством потребления хмельного, попытались тем же самым образом вернуть ее, убегающую теперь, назад. Но на дворе стояло другое время, плескались другие напитки, галдели другие люди – выпивка не грела душу. Несмотря на все увеличиваемые дозы, она сушила сердца, ожесточала их, убивала тело. Началось национальное бедствие, всеобщее помутнение разума, добровольное сумасшествие.

Пытаясь восстановить в памяти происшедшее в жизни за последние двадцать пять лет, ловлю себя на мысли: они все перемешались в кишащем «броуновском» движении, беспрестанном кровавом кроссе, слились в жуткое темное пятно, нечто вроде малевичевского черного квадрата.

«Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигается таинство нового.... Служитель (нового – Г.П.)... образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки!» Это, между прочим, слова самого Малевича, неплохо, кстати, характеризующие устремления «квадратного» художника-демократа, востребованного нынешними передельщиками в качестве разрушителя жизни, артиллерийского залпа, заставляющего обстреливаемых людей вжаться в землю своего окопа и сидеть там, скрючившись, не поднимая головы.

И странно, но прямо-таки безобидными выглядят сейчас почему-то события давних лет, те же проделки, творимые нами, когда бывали «навеселе», когда, не боясь ни райкома, ни райисполкома, писали в той же газете, что на душе лежало. И встают перед глазами те годы стройной, четкой и ясной чередой, не свиваясь в червивый, грязный комок теперешних дней.

...Иван Иванович Сорокин, директор совхоза «Мятлевский» – ярый в районе антикурузник. Совещание в райсельхозуправлении. Реплика из зала: «Иван Иванович кок-сагыз у себя сеять готов, лишь бы не кукурузу». Хохот неимоверный.

Надо сказать, что совхоз «Мятлевский» специализируется на выращивании овощей: томатов, огурцов. К концу лета, в начале осени жители Медыни, в том числе и местные начальники, норовят про запас, на засолку прикупить по низким ценам у Ивана Ивановича классные огурчики, кабачки, патиссоны. Пытаются они через некоторое время после злопо-

лучного совещания осуществить овощные закупки и ныне. Но Сорокин суров: «Нет у меня овощей. Кок-сагыз только».

Святые наивные души... Виктор Леонов, главный агроном одного из хозяйств, организатор в районе первых безнарядных звеньев. Беру у него интервью, которое ставим в номер спустя после встречи с агрономом через несколько дней. Но, чтобы подчеркнуть столь любимую нами, газетчиками, оперативность, предваряем беседу словами: «Вчера вечером наш корреспондент встретился с Виктором Леоновым». Наутро газету несут в киоски, подписчикам, но в первую очередь в РК КПСС. Там местную прессу штудируют – будь здоров, в чем, на сей раз, мы очень заинтересованы: прочтут материал о безнарядке, разумеется, отреагируют, отметят творческий коллектив. И «реакция» грянула.

– Где это встретился вчера вечером ваш корреспондент с Леоновым? В вытрезвителе, что ли? – гремел гневно в трубке редактора, лишь только появился он у себя в кабинете, голос первого секретаря.

Вот те на! Прославляемый нами новатор вчера, как выяснилось, лихо погулял в райцентре, попался в руки милиционерскому патрулю. Понятно, о выходках уважаемого, но непотребно пьяного товарища доложили куда следует. Мы на свою беду о злоключениях агронома знать не знали. Выдали оду ему в печатном органе и насмешили народ, прогневив высокое начальство.

...Николай Стариков, столяр с мебельной фабрики порезал фрезой пальцы на левой руке. Левая – не правая, решили лекари из фабричной медсанчасти и бюллетень пострадавшему не дали. Стариков, молодой горячий парень – к нам в газету. Мы тоже, молодые и горячие, быстренько выдаем «на гора» фельетон о бездушии эскулапов, отказавших в больничном листе пострадавшему труженику. Сатирическую направленность выступления усиливаем саркастическим эпиграфом, который звучит внутренним монологом незадачливых медиков:

*Хороша штучка,
Болит ручка.
Есть, пить можно –
Работать – нет.*

Медицина повержена. Мы – на коне. Автору любовь и признание простого народа.

Через несколько дней после этого, шагая вальяжно до хаты довольно поздно, наскочил я на толпу медынских ухарей-ребят. Им чего-то не понравился мой трезвый вид и приличный прикид. По всем признакам бузотерам очень хотелось почесать об меня свои руки. Наверное, это произошло бы, не раздайся вдруг зычный голос:

– О-О-О! Никак сам корреспондент, что Кольку Старикова защитил, нам повстречался.

Даже в вечерней мгле было видно, как обомлели, расплылись в улыбках подгулявшие парни, разом превратились из кичливых забияк в милых добродушных ребят. Ватагой весело, дружно проводили меня до самого крыльца дома, где доводилось снимать мне угол.

Ох, чего только не случалось тогда. Гена Харлампиев, укоренившись в редакции, мечтает вступить в партию, зазывает редактора в гости к себе, угощает. Жена Гены Юля, крупная, полная женщина хлопочет около стола. Кузькин в поэтическом настроении декламирует вдохновенно:

*Сижу ли я, брожу ли я –
Все Юлия да Юлия.*

Гена считает пора о деле начинать разговор. Но Гаврилыч, помня об инциденте молодого сотрудника с первым секретарем, неподкупно прерывает желание Гены: «Только через мой труп».

А через день, надо же случиться, в редакцию, проезжая из Юхнова в Москву, заскочил столичный поэт Левашов. Понятно, накрыли мы стол, взяли для публикации стихи у москвича. Тот в ответ, подобревший и разомлевший, в свою очередь попросил почитать ему наши произведения. Кое-какие из них взял с собой. В том числе стихотворение Харлампиева о Медыни, в котором рефреном, как песенный припев, звучала строка: «Мед, Медынь, Медынка, медоносы».

Не помню, через месяц или два после заезда к нам Левашова, слушаем мы по Всесоюзному радио концерт, транслируемый из московского Колонного зала Дома Союзов. Объявление ведущего: «Песня о Медыни. Слова Геннадия Харлампиева, исполняет Владимир Трошин!»

Немая сцена в гоголевском «Ревизоре» – ничто по сравнению с тем, что отпечаталось после сего объявления в нашем творческом коллективе. Гром среди ясного неба поразил, думается, всех медынцев, что слушали данный концерт.

«Песня о Медыни», записанная на пленку корреспондентами районного радиовещания, стала впоследствии лирическим гимном города, она предварила все местные радиопередачи. А Кузькин, припертый к стенке безвыходностью обстоятельств, вынужден был сказать сокрушенно:

– Придется, видимо, брать Геннадия в нашу партию.

Интересные же встречи с интересными людьми продолжали иметь место и в дальнейшем. В один прекрасный вечер, после подписания номера в печать, сидим мы в кабинете редактора, толкуем о том, о сем. Глядь: под окнами тормозит белая «Волга». С обкомовскими номерами! Представительный, средних лет мужчина, с дипломатом в руках выскакивает с переднего сиденья, направляется в сторону редакции. И вот он на нашем пороге:

– Николай, – называет свое имя вошедший. Представляется по чину: – Помощник министра культуры СССР. – Поясняет: – Будучи в облцентре по делам, вспомнил, извините, поэта Алешкина, что был у меня перед командировкой. Заскочи, посоветовал он, в Медынь, к Кузькину, не пожалеешь. Видите, заскочил.

– М-да, – Кузькин делает кивок головой в мою сторону. Вскрываю с места и – к двери. Николай, вероятно, понял, куда поспешил я, останавливает:

– Я прихватил тут кое-что, – открывает дипломат, в котором квакают пара бутылок сухого.

– Несерьезно, – кривится Михаил Гаврилович. Я убегая и скоренько возвращаюсь с водкой и колбасой.

Чокнулись, выпили, перешли на ты. Прямо, отцы русской демократии. Заговорили легко и свободно, словно старые «дружбаны». Решили выехать на природу, к озеру.

Шумели прибрежные ивы, березы, тихо плескалась зеленая вода у разутых ног, солнце клонилось к западу, рассыпаясь розовыми блестками на ласковых волнах.

Мы читали стихи, в промежутках провозглашая пышные тосты друг за друга. Женщина, пасшая недалеко корову, заслушалась, не вытерпела, подошла к нам:

– Ребята, как вы хорошо говорите-то. Не чета мужикам нашим. Напьются – мат-перемат.

Окрыленные народным признанием и любовью, поднимаем заздравную чашу в очередной раз. Но для Николая, не привыкшего, похоже, к возлияниям в таком количестве, чаша сия становится роковой. Он обмякает.

В гостиницу из машины заносим его на руках. Благо служители двора постоянного хорошо нам знакомы, укладываем высокого гостя без хлопот в кровать.

Рано-рано утром, до начала работы, Кузькин примчался ко мне. Распоряжается:

– Дуй за Колей, опохмелить надо.

Бегу. Встретившаяся дежурная умеряет мой пыл сообщением:

– Гость ваш ночью еще съехал.

О-хо-хо. Представляю: очнулся, небось, важный чиновник, осознал ситуацию, схватился за голову и в бега со стыда подался.

Рассказываю о случившемся Кузькину. И тут раздается звонок. На проводе – Анискевич:

– Михаил, из обкома сообщили: к нам будто бы вчера вечером помощник союзного министра культуры выехал. Надо встретить. Культурную программу, обед организовать. Расходы берем на себя.

– А мы уже встретили его с Генкой.

– Как? И что?

– Ничего, водкой напоили, колбасой накормили, уехал довольный.

Слышно, в сердцах Виктор Степанович бросает трубку.

Прошло недели две. В редакцию с почтой приходит пакет с министерским грифом. Открываем – письмо от «друга Коли». И стихи – «Сон о Медыни».

Стоит ли говорить, что мы их сразу же заверстываем на первую полосу. А наутро – звонок от первого:

– Слушай, редактор, что за хренотень ты печатаешь? Такого и во сне не увидишь. Какие это у нас через Медынку, которую воробей вброд перейдет, мосты горбатые перекинулись? Где ты такого ненормального автора откопал?

– Так это же Коля.

– Какой такой Коля?

– Помощник министра.

В трубке молчание.

К концу недели Гаврилыч едет в Москву, везет в министерство культуры Союза несколько газетных экземпляров со стихами Николая – едет в надежде на шикарный прием. Возвращается, однако, будто оплеванный.

– Что с тобою, Михаил Гаврилович?

– Не тем человеком Коля оказался. Повел в министерский буфет, заказал по рюмочке коньячку, кофе. Ну, что это?

– А ты думал, он тебе там поляну накроет. Москва – не Медынь.

– Так-то оно так, – соглашается Кузькин. Но вдруг он сурово сдвигает брови, свирепо вопрошает, вроде бы вовсе не по теме:

– Ты меня боишься или нет?

– Нет, – отвечаю довольно хладнокровно и равнодушно.

– Как? Меня? Редактора, члена бюро райкома – и не боишься?

– Нет.

Гаврилыч обескуражен, смотрит насупившись:

– Ты что – сотрудник КГБ?

К КГБ у нашего редактора отношение особое. Сам, по собственному признанию, «косил» некогда под сотрудника тайного ведомства, когда демобилизовался из армии, в частности, из ВВС, и носил голубую фуражку.

– В лесном поселке, где я определился на жительство, из-за этой фуражки, – рассказывал довольный Гаврилыч, – меня человеком из органов считали, хозяйка угла, который снимал, плату ничтожную брала.

– Но у кэгэбэшников фуражки не голубые – темно-синие, – демонстрировали мы свое специфическое знание.

– Кто там, в лесу, различал эти оттенки?

Кузькин, Кузькин... Открытой, добрейшей, широчайшей души человек. Сколько раз вспоминал я его впоследствии, когда волею судеб попал на работу сначала в областную газету, затем в крупнейший печатный орган аграриев – «Сельскую жизнь», а после окончания ВПШ при ЦК КПСС – в главное издание коммунистов – «Правду». Какое счастье, что в начале журналистского пути оказался я в обстановке небывалой свободы чувств, раскованности и человечности, атмосфере, далекой от казенщины, заорганизованности, что и тогда и потом давало непрекраснейшие результаты и эффект, особенно ежели приходилось писать о людях и их помыслах. Писать свободно и вольно – как есть на самом деле. Да, мы были всегда под контролем партийных органов. Но и они, видя, что заветное честное слово наилучшим образом воздействует на людское сознание, искренне говорили нам «спасибо». Помню материалы, публикуемые под придуманной нами рубрикой «Товарищу по партии», – материалы, в которых рядовые коммунисты незатейливо, откровенно говорили о наблевшем. Это помогало в итоге через идущие изнутри души порывы сконцентрировать внимание масс на решение огромной важности проблем и задач.

Помню, как в районной газете ввели мы в год пятидесятилетия со дня победы Великой Октябрьской революции правило: в каждом номере давать очерк или зарисовку о человеке, родившемся в 1917 году. Какие открылись возможности – без барабанного боя, не навязчиво и не формально, а по-человечески показать в конкретных жизненных ситуациях конкретного человека, что работает бок о бок с тобой, те победы и лишения, радости и горести, что испытал весь наш народ за 50 лет советской власти. После, когда отгремели юбилейные торжества, мы трансформировали рубрику «Ровесники Октября», в рубрику «О времени и о себе». Рубрику эту заметили не только в районе – во всесоюзном журнале «Партийная жизнь» дан был обзор наших специфических публикаций.

А вскоре в ряде центральных газет, как заметили мы, появились вариации нашего начинания. И поди-ка плохо было нашему РК КПСС от осознания того, что его печатный орган, а вместе с ним, естественно, и райком, гремят на всю страну.

Я пишу о той поре с обожанием, добрым настроем. Пишу, возможно, слишком пространно. Хватило бы и одного двух примеров из лихой той жизни. Но коль уж пришлось заговорить об этом... Понятно, меня можно упрекнуть в ностальгии. Тем более, что в заголовках этой части воспоминаний вывел я слова не всем, быть может, известного поэта Владимира Корнилова – слова из его поэмы «Шофер»:

– Люди в прошлое влюблены.

Кстати, поэма увидела свет на страницах альманаха «Тарусские страницы». Его произвело в 60-х годах Калужское книжное издательство, обеспечив тем самым громадный интерес к себе и собственный смертный приговор. Издательство закрыли. Конечно, не по причине публикации в альманахе «Шофера»...

Однако, это к слову. Говоря же (признаю) довольно сбивчиво о личном прошлом, мне не хотелось, чтобы читатели восприняли его как некую бытовую хронику жизни отдельного человека. Ведь мы, люди, – существа общественные. Стало быть, и память каждого из нас всего лишь частица лавинообразного потока всеобщего человеческого сознания. Стоит ли говорить, что топтать эту память не только преступно – губительно. Наше бывшее – история. Она, это точно, не имеет сослагательного наклонения, и нет из нее выхода назад, но все-таки история эта есть реальный вечный двигатель человечества, хотя научно вроде бы доказано: «Perpetuum mobile» в природе не существует. На Земле.

На всякий случай, не благоразумнее ли будет как можно осторожнее обращаться с загадочным, даже будто бы с несуществующим механизмом. Помня при этом речения историка Николая Карамзина, призывавшего меньше осуждать подлежащее осуждению и более хва-

лить достойное хвалы. Чуете, о чем толкует человек, всеобъемлюще охарактеризовавший в свое время положение в России единственным словом: «Воруют!»

И не надо бы забывать то, что сказал еще один великий человек (я не раз цитировал его ранее) – Василий Белов: «Бесы хают прошлое и хвалят будущее. Оно для них вне критики».

Что верно, то верно: легко хвалить чего нет, и вряд ли будет грядущее таким, каким «рисуют» его те же бесы.

* * *

«... многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь; претерпевший же до конца спасется».

(Евангелие от Матфея)

Копаясь в старом портфеле

Копаясь в свалке газетных вырезок, беспорядочно валяющихся в старом-старом моем портфеле, наткнулся я на пожелтевшую, почти истлевшую страницу. Пригляделся, прочитал заголовок одной из статей «История родной деревни». Боже, оказывается, еще лет пятьдесят назад я все-таки пытался что-то сказать о своей малой родине, о людях ее населяющих. Любопытно, как же я писал о них тогда? Дорогой читатель, давай прочтем материал этот вместе. Итак:

...Дед Николай лежал на печке, где сушились валеные сапоги, портянки и валялось всяческое тряпье, а чуть ниже – в горнушке – спал рыжий, величиной с пестерь, кот. Дед был стар, как дом; кот по темпераменту был стар, как дед. Дед давно уже не мог работать и жил на кой-какие сбережения, накопленные за долгую трудовую жизнь. Кот давно не ловил мышей, кормился за счет дедовой доброты лучшими кусками со стола.

Но кот, казалось, не особо выражал признательность деду за сладкие куски – даже не мурлыкал, и дед, в свою очередь, был не совсем любезен с котом. Кидая ему баранину, тянул недовольно:

– На-ко, черная душа.

И, глядя после обеда на медленно удаляющегося к горнушке кота, сердился:

– Ишь идет, как коновал. Ну, до чего ж нехороший кот, – это прямо до ужаси.

И шел вслед за ним на печку. Иногда, видимо, вспоминая что-то, останавливался, и молился богу.

С богом у деда, вообще-то, часто случались казусы. Вроде этого. Как-то, еще будучи в силе, он вызывался помочь колхозу, только что организованному, в уборке сена.

Работали от деревни верст за 20 – на пустоши, питались из общего котла, спали в шалашах. Однажды, когда после косьбы шли завтракать, дед вспомнил, что сегодня праздник – праздник трех святителей. Невдалеке, где дымился котел с варевом, дед стал молиться. Молитва состояла из одних пришепетываний и возгласов:

– Слава тебе, господи... Сегодня праздничек трех святителей...

Иванко Кузнецов, известный насмешник, стоял сзади и надоедал:

– Дед Николай, каких трех-то святителей?

Дед сначала только косился. Ответить не мог – не знал. А Ванька не отставал:

– Дед Николай, каких трех-то святителей?

– Да вот каких! – вскипел дед и разразился бранью после очередного поклона.

– Вот так молебен закатывает дед! – хохотали у котла колхозники.

За свою непосредственность и горячность дед претерпел в жизни немало неприятных, горьких минут. Рассказывали, в конце двадцатых годов добрался дед пешком до областного центра-города Костромы. Шел девяносто верст, нес на продажу огромную корзину, наполненную куриными и гусиными яйцами. Со всей осторожностью приплелся, наконец, к торговым рядам, что стояли перед главным парком Костромы на крутом берегу матушки Волги. Там, в этом парке, он помнил, в 1913 году, к трехсотлетию дома Романовых (династия последних российских царей вышла из наших краев) была воздвигнута чугунная часовня с устремленными ввысь маковками с ажурными крестами. Дед привычно глянул в сторону часовни, занес руку ко лбу, дабы перекреститься и... оторопел. Вместо маковок и крестов на корпусе часовни, как на пьедестале, возвышался мраморный Ленин. Он, безбожник и царененавистник, и ныне находится на основании памятника царской династии.

Что это? – Мистика или символ? Большевистский вождь стоит, подняв руку, направленную в сторону реки. Если плыть на пароходе со стороны Ярославля, монумент можно увидеть километров за 30.

Но дед шел в Кострому с другой стороны, и чуть не столкнулся с «Ильичем». В растерянности забыл о корзине с яйцами, опустил руки и «хрупкий товар» брякнулся на мостовую. Дед опомнился, и... пошла писать губерния. Мат летел из его рта такой, что ему позавидовал бы любой забубенный боцман с плоскодонной волжской баржи. Стоявший недалеко постовой, поспешил к разгневанному старику, стал выяснять причину нервного срыва его:

– Дедушка, что с тобой?

Увидев перед собой блюстителя порядка, дед не стал запираться:

– Да вот – показал он на статую Ленина, – загляделся на этого хрена милого. (Здесь словом «хрен» пришлось мне заменить другое слово, из цензурных соображений, – более краткое, начинающееся тоже на букву «Х» – Г. П.)

У постового глаза полезли на лоб. Ленин – «хрен»? Где ему было знать, что выражение «хрен милый» у деда Николая являлось всего лишь безобидным присловием, таким междометием.

Так ли, сяк ли, но оказался несостоявшийся поставщик яиц для голодающих жителей облцентра в кутузке. И каковым бы путем последовал он дальше – догадаться не трудно. На счастье, на первом допросе выяснилось, что сын деда Николая, Василий, подавлял совсем недавно в Ярославле савинковский мятеж. Геройски погиб.

Деда отпустили домой.

Я помню Николая Васильевича после победы над фашистами в 1945 году, за которую вместе с 27 миллионами соотечественников отдали жизни шестеро его сыновей. Помню молчаливого, согбенного, но старательно работающего. К нему подходили со словами сочувствия односельчане. Он отрешенно махал рукой. А как-то услышал страшные дедовы слова при этом: «Погибли и ладно. Меньше хулиганства сейчас».

Когда я стал ходить в школу, то многое узнал о борьбе с фашизмом. Узнал и то, как, вероятно, узнал об этом весь мир, что у итальянского крестьянина Чарльза Деви погибло в этой борьбе семеро сынов. Мы скорбим о них. Но однажды, как молния, меня поразила мысль-вопрос: почему в нашей школе, чтя итальянских мучеников, совершенно не говорят о таких же мучениках, но своих, близких, родных, дедушке Николае и его павших сынах-воинах? (Ответа на этот вопрос я тогда не нашел. Нашел после, о чем и писал в своих предыдущих книгах: «По острию лезвия», «Крадущие совесть» и других. Я вернусь к этой теме. Сейчас скажу лишь: нам не было отпущено времени на слезы. Мы должны были, стиснув зубы, как альпинисты, не оглядываясь назад, цепляясь за вот-вот готовую оборваться веревку, ползти, карабкаться в гору, к свету, простору, свободе. Это понимал Николай Васильевич – мой дед по отцу – Г. П.).

Дед чувствовал себя плохо. Попросил соседей позвать попа, который бы его соборовал. Попа пригласили. Батюшка, совершив обряд соборования, присел к столу, где было припасено угощение, выпил. Дед лежал на деревянной кровати, глядел-глядел и не вытерпел:

– Налей-ка и мне рюмочку.

Да и жил после этого еще более пяти лет.

Он умер после пожара, возникшего в результате оплошности дедова соседа. Тогда сгорело полдеревни. И в первую очередь, дедов дом со всеми пристройками, овцами, курами, коровой. Николай Васильевич поселился у своего брата – Ивана, человека необычайного, женившегося во время революции на княжне. Да, да. Недалеко от нашей деревни находилось село Княгинино – имение князей Бертеновых. Одна из девушек этого рода пошла в народ, стала сельской учительницей. Выжила, благодаря этому, в лихие годы междуусобья. Другую спас брак с мужиком Иваном.

Господи, какие события, какие судьбы всколыхнулись в те годы. Костя Румянцев, краснофлотец, «краса и гордость революции», на руках несет после «гражданской» в глухую деревню капитанскую дочку – потомственную дворянку, свою теперь жену. Несет на руках

потому, что дорога к дому – непролазная грязь, а у капитанской дочери на ногах... изящные туфельки. Потом начнется Великая Отечественная война. И капитанская дочка оденет на свои стройные ноги аристократки сплавщицкие сапоги, уйдет с отпетой артелью «гнать» по реке лес. А Костя погибнет на фронте.

...В морозном дыму под окном бродил зимний вечер. Над крышей овощного хранилища повис обледенелый от холода месяц.

В избе мужики горланили «Ермака».

Дядя Паша, инвалид войны, охрипшим голосом в сотый раз начинал рассказывать соседу:

– Идем мы в атаку... Снег белый-белый, а мы в шинелях, как птицы, трепыхаемся. По нам немец из пулеметов палит. А у меня... нет страха...ничего. Иду, как будто в кино себя вижу.

Сосед тарачил глаза.

– Я – майор! – бил себя в грудь безрукий дядя Генаша.

– Я на фронте был – майоров не видал, – задирался Иван Махов.

Жены, сидевшие рядом, растаскивали, готовых было вцепиться друг в друга друзей.

– Ребята, ребята, закусите, – и совали то пирог с картошкой, то капусту.

Наутро, не глядя друг другу в глаза, сходились вместе на работе, курили. Потом начинали толковать о том, что пишут в газетах, о том, что народу в деревне мало, земли плохие, о том, что надо, например, подрубить дом, а не на что и нечем. А деревня распадается. Молодежь начинает уходить. А девчонки и ребята еще в большинстве своем поют песни Исаковского, на посиделках пляшут под гармошку трепака, смотрят кинопередвижку и много довольны. И работать бы им в удовольствие, в коллективе, оплачивали бы получше труд только.

...Дядя Вася пил чай и смотрел телевизор (в деревне их стало через дом). К нему заглянул бригадир полеводства Михаил Яблоков.

– Васюх, завтра с бригадой не сходишь сено покосить?

– Постеснялся бы, Михайло, уж сколько лет как я на пенсии, а ты каждый день меня наряжаешь на работу.

– Так что тебе рубль лишний, что ли?

– А что мне рубль, у меня пенсия не плохая, проживу, не охнув.

На покос дядя Вася, конечно, пошел. Знает: народу молодого нет в деревне. Так бабы, пенсионеры ходят, выручают колхоз работой. Прикипели их сердца к земле. А с молодежью беда – и заработок большой в колхозе, а не остаются.

Ходит дядя Вася и думает: почему же так случилось. Дай-ка бы нам, размышляет, такие условия раньше – горы бы свернули. Подумает-подумает да и вспомнит, что сам всем своим сынам твердил одно время: езжайте в город. Испугался дядя Вася неудач того времени.

А в деревне благодать.

Собирается вечерами старичье.

– Скажи, Иван, ну, какого дьявола твоя Марья уехала в город? Денег она больше, чем доярка в колхозе, все равно не заработает, в кино чаще, чем здесь, не сходит.

– Кто знает? Я что ли, или вон Петр? Вообще-то, моей Марье действительно трудно вернуться. Она там замуж вышла. Муж городской. Бабе мужика уговорить все-таки не легкое дело.

Молчат. Потом снова:

– Ну ладно, наши ребята еще когда ушли. А вот у Пашухи-то совсем недавно, уж при хорошей жизни. Почему бы это?

Пашуха чешет затылок, как будто и говорить не собирается, а потом и заявляет вдруг:

– По инерции.

...Солдат Володя Тощакوف демобилизовался из Армии в июне. Ехал и радовался – есть время еще проштудировать учебники в спокойной обстановке. Потом...

Демобилизованного встретила вся деревня от мала до велика. В честь его был дан банкет. И не такой банкет, который по Аркадию Райкину поллитрой зовется, а с провозглашением тостов. Основным из них был тост упомянутого ранее бригадира полеводства Михаила Яблокова.

– Пью за то, что нашего полку прибыло!

«Да уж, какой полк здесь, дядя Миша», – хотел было заспорить солдат, но из такта смолчал.

На другой день ходил Тощакوف по полям, по лугам. Смотрел, дивился – хлеба в полях намечаются тучные, травы в лугах плотные.

– Богатый урожай, – говорили ему дома, – а убрать вряд ли рук хватит.

– Пишут в газетах, призывают молодежь на село! – говорили Тощакوفу в другом месте, – а только к нам молодые люди все еще не прибывают. Погостить наши дети на родину едут с удовольствием, а работать на родной земле не хотят.

«Не погостить только, – подумал вдруг почему-то Володя, – просто трудно всегда человеку вдали от родных мест».

Мысли бродили несвязанно, лезли в голову неизвестно где услышанные слова: «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир».

...Сенокос в этом году затянулся. Дожди, дожди. Был конец июля, Тощакوف так и не поехал никуда сдавать вступительные экзамены. Ходил с бабами, с мужиками, как только налаживалась погода, на покос. Ворошил, возил, метал в стога колхозное сено.

За солдатом бегали деревенские мальчишки, тоже помогали в уборке. Приезжали в отпуск, на каникулы из разных мест девчонки, парни, и вместе с деревенской «ребятней» шли в поле. Работали весело, споро, как студенты на стройках. Радовалась деревня – могут работать дети. Значит, жив в них крестьянский корень.

Лето кончалось. Приехавшие в отпуска, на каникулы уезжали к себе, обещая на следующий год прибыть и снова поработать в колхозе.

Тощакوف оставался в деревне. Из молодых колхозников здесь он был пока один.

* * *

Об этом писал я, повторяю, более чем полувек назад. Написанное печаталось в районной газете – органе РК КПСС и райисполкома.

А вот другие находки в старом портфеле.

Кто-то проклянет...

– Васька! Олух ты этакий, пойдешь домой или нет, кому я говорю?

Бабушка Варвара, так в деревне звали вдовую женщину – мать четверых детей, в хлопчатобумажной косынке на голове, в овчинной шубе со сборами какой уж раз выходила на крыльцо дома и кричала в сторону Яблоковой горы, где в куче сорванцов толкался ее «непутевый сын» Васька. Васька – 15-летний малый, «плут» и «оказье», по словам матери, никак не хотел отозваться на оклики, ибо знал заранее, что дома его ожидает, во-первых, трепка, а во-вторых, насильственная долбня школьных учебников.

Васька рос вольницей, «баловником», учиться не хотел. Мать, выводимая из терпения Васькиным равнодушием к школе, частенько грозила отдать его в пастухи. Но Васька против ничего не имел.

Прошное лето он уже был подпаском у Мишки Барана, стерег с ним овец и коз, ходил «по чередам», и это ему нравилось.

...Видя, что от «учебы» для парня никакого проку, мать, не дав доучиться сыну до конца в 7 классе, отдала-таки его по весне в пастухи в соседнее село. Когда его «рядили» в пастухи, выговорила она ко всему, чтоб ее сына сельские мужики кормили, как и раньше поочередно за все время пастьбы.

В селе, где пастушил Васька, была церковь «Михайла-Архангела», служил в ней отец Паисий, благочестивый старец. Кроме исполнения службы, отец Паисий занимался огородничеством, пчеловодством на отведенном ему участке земли и держал трех овец. Овец по особому договору он летом отдавал под надзор сельского пастуха. И потому Васька, соответственно условиям, бывал «на череду» и у батюшки. Кормежка у отца Паисия была не ахти какая важная. Так, ни рыба, ни мясо. Вероятно, Васька попадал всегда как раз в те дни, когда скромное в доме батюшки есть считалось грешным.

Запомнился Василию в связи с этим такой случай. Как-то, обойдя по кругу всю деревню, примерно через месяц он пришел на постой снова к отцу Паисию. В обед, подав «холодное» (так в наших местах называли окрошку), матушка – жена попа – положила перед Васькой зачерствелый до невероятности и обкусанный с краев кусок хлеба.

– Это ты, Васенька, в прошлый раз не доел.

...«Насолил» батюшка Ваське и еще раз, через год, когда Василий работал в колхозе рядовым.

Однажды бригадир, Михаил Ветошкин, нарядил молодого колхозника Смирнова Василия расчищать «ладонь» около овинов. Накануне Василий ходил на «зорянку» в соседнюю деревню, пришел домой под утро и, ясное дело, не выспался.

К полудню вконец разморенный, он перебрался в тенистое место и уснул. И как на грех проходил мимо отец Паисий. Нелегкая носила его на поле с гречихой, что было по соседству с овином, и с которого пчелы поповские носили нектар в ульи. Увидев спящего богатырским сном Василия, он не удержался и при встрече с бригадиром Ветошкиным поведал об этом.

Михаил был человеком с юмором и записал в трудовой книжке Смирнова в этот день следующее: «За лежку на «ладони» – 15 соток».

Василий, узнав, кто его так гнусно предал, задался целью «отомстить», наконец, отцу Паисию за все.

Зимой, под Николин день, Василий, одев новую рубашку, глаженные брюки и новую тужурку, направился вместе с прихожанами к «Михайлу-Архангелу». Отец Паисий, увидев Василия с покорной миной на лице в лоне церкви, немало удивился.

– В духовную семинарию мечтаю поступить, отец Паисий, – кротко объяснил батюшке Васька, – хотел бы получить рекомендацию от церковно-приходского священника.

Церковно-приходской священник отец Паисий нутром почувствовал, что здесь кроется неладное и, понятно, никакой рекомендации не дал.

На Николин день Васька сидел в чайной и мудрил над какой-то замысловатой бутылкой из-под заморского вина, на горлышко которой был навинчен довольно большой посеребренный крест, сверху до низу просверленный. Заказав буфетчице Нюре стакан красного, Васька не выпил его сразу же, а сначала перелил его через крест в бутылку. Затем уже снова через крест налил вина в стакан.

– После этого пить совершенно безгрешно, – пояснил Василий обступившим его зевакам.

За этим «святым» занятием и увидел его отец Паисий, зайдя в чайную после обедни.

...В эту зиму Васька много читал, готовился на курсы счетоводов. Мать, попрекавшая его ранее за нерадение к учебе, теперь попрекала в обратном: жалела Васькины глаза. А особенно ей было жаль керосину, который Василий сжигал в лампе, засиживаясь до полуночи. Ваське помогли тут восковые свечи, которые он прихватил вместе с крестом в церкви у отца Паисия под Николин день.

К тому же Василий начал писать лирические стихи, которые немедля, отправил в редакцию газеты «Буйский ударник», в простонародье называемую «Буйский урядник». Из редакции ответ был краток: «Стихи у вас получились не те (тогда не лирика нужна была – Г.П.), попробуйте писать в прозе». Не попробовал.

Возможно, помешала начавшаяся война, на которую Василия забрали по всеобщей мобилизации. В сорок же первом году он «пропал без вести». Младшая Васина сестра Вера, спустя годы, сказала на этот счет: «Не пропал Василий, он, наверняка, в плен сдался, чтобы не воевать, а потом, после войны, домой вернуться побоялся».

P.S. Прошли годы. Умерла мать Василия, брат, прошедший с боями от Москвы до Берлина, сестры Мария и Вера. А я – открою тайну – являвшийся Василию племянником по матери, жил и работал в Москве. Приехав однажды в родную деревню, где не было уже никого из кровной родни, услышал молву: будто бы приходило на имя бабушки Вари письмо – не как из Австралии, да поскольку адресат выбыл давно в мир иной, письмо то ли пропало, то ли обратно вернулось, откуда пришло.

Выяснять, что бы это значило, мне было «не досуг». Тем и оправдывал я тогда причину – неубедительную – своего непорядочного действия, вернее бездействия. Кто-то за это проклянет меня. И правильно сделает...

Малое и великое

Последующие три зарисовки – тоже из старого портфеля. Правда, в них речь идет не о моих земляках непосредственно. Ну, и что из этого? Важны детали.

I

Крестьяне Медынского уезда славились своей смекалкой и умением всякие дела делать. Давным-давно, когда еще промышленные предприятия по России были слабы и хилы, как всходы осени, выросшие на не удобренной почве и из неважных зерен, крестьяне были вынуждены обеспечивать себя всем тем, чем со временем стали их снабжать фабрики и заводы. Валенки, кожаные сапоги, армяки (в общем всякая одежда), сани, телеги и прочая хозяйственная утварь, столь необходимая в крестьянстве, делалась ими самими. Но вместе с тем каждая деревня в отдельности славилась чем-либо особенным. Так, мужики из Кременска были известны по всей округе как удалые, способные плотники, адуевские парни – были спецами по части поделки колес и саней, логачевцы задавали тон в выделке кож и пошиве сапог.

Шли годы. Но тяга к тому ремеслу, что передавалась из поколения в поколение в крестьянских семьях, в крестьянских общинах, оставалась надолго, как оставались своеобразные черты в характере особого мужицкого сословия.

Георгий Балакин, родившийся в деревне Логачево, в крестьянской семье в 1911 году, переживший падение царской империи и зарождение нового уклада, как и следовало ожидать, впитал в себя от своих родителей – людей прошлого – любовь к кропотливому физическому труду, а от нового времени – размах души и полет фантазии. Его и самостоятельная жизнь началась с того, что он в 1927 году начал трудиться на кожевенном заводе в Медыни (завод тогда располагался на территории нынешнего льнозавода), и тогда же, увлекаемый течением новой жизни, стал Георгий комсомольцем.

Быть комсомольцем было не просто. Само по себе звание комсомольца никакой материальной выгоды не приносило, но времени забирало свободного уйму. А если учесть, что отец и направил сына в город лишь с той целью, как бы деньжонок иметь побольше, то и совсем становится понятно, каково было 16-летнему мальчишке оправдывать свой поступок перед отцом. Доводов идеологического порядка отец и слышать не хотел, а часто в ответ на них шел в сени, брал кнут и применял его с таким остервенением по отношению к «непутному» сыну, как и к тощей своей лошаденке, когда та выбивалась из сил на полосе или дороге. Уйти из дома Григорий не мог: почтение к отцу и матери (такое сильное у людей его поколения) не позволяло это ему сделать.

Отец со временем от домоостроевских замашек освобождался, но освобождался медленно, как и все его сверстники. Многого еще не понимал в то время старый крестьянин. Порой он в своих намерениях отлучить сына от комсомола доходил до иезуитства.

Как-то в ночь на пасху отец не пошел святить куличи в церковь лично сам, а послал сына-комсомольца. К удивлению, сын не отказался, и утром, когда все логачевские богомольцы возвращались из медынской церкви, принес батюшке кулич. Крестьясь и читая молитву, старик стал разговляться. Разговлялся и сын. Угрызения совести его не мучили нисколько: кулич был вкусный, ароматный – и неудивительно: ведь святился он не водой из поповского кувшина, а утренней росой с вербы, где он, завернутый в полотенце, пролежал всю ночь, так и не побывав в церкви.

После завтрака Георгий ушел в Медынь, где по случаю пасхи собралась тьма народу.

Бабы и мужики в ярких нарядах ходили около церквей (а их тогда в Медыни было три), умиленные и умиротворенные.

Местная комсомолия держалась особняком и что-то, видимо, придумывала. И придумала. В то время, как от церкви донесся колокольный звон, в городском саду загредел духовой оркестр. Как сумели комсомольцы организовать такое выступление, припомнить трудно, но так или иначе звуки «Интернационала» произвели желаемый эффект.

Благодушное настроение у людей было, попросту говоря, смято. А тут еще кто-то пустил слух, что в горсаду, в сарайчике «комса» крутит фильм. Русские люди – люди любопытные – не удержались от соблазна и на сей раз. С опаской, бочком стали заглядывать в сад и верующие. Кино их удивляло, сбивало с толку, захватывало – опомнились они лишь тогда, когда кончилась картина. Стыдливо, но в душе восхищаясь чудом «советских ребят», покидали они горсад.

Так, можно сказать, впервые медынская комсомолия заявила о себе всеуслышанье. Почувствовав, что их действия не оставляют равнодушными никого, а, кроме того, оказывают столь благотворное влияние, стала она действовать увереннее, смелее.

Вскоре по инициативе уездного комитета партии была создана ячейка из числа наиболее активных комсомольцев. Вошел в нее и Григорий Балакин. И началась жизнь шумная, задорная, головокружительная. Идеи, мечты – они не давали покоя. Горели пламенем борьбы за новую жизнь комсомольские сердца, зажигали своей верой заскоружные души крестьян-земляков. Буйное время тридцатых годов будоражило умы и молодых, и старых людей. На медынской земле создавались колхозы.

А Балакин по призыву партии – «Молодежь на промышленные стройки!» – уехал в Ленинград. Работал в порту.

К концу тридцатых годов деревня Логачево насчитывала более 70 дворов. Крепкие, ладные постройки говорили красноречивее всего, что жизнь на селе налаживается. В колхозные праздники на улицах деревни было шумно, весело: неслась бойкая песня ребят, стучали на утопанных «пятачках» у окон домов каблуки девичьих туфель.

Такой увидел Григорий Балакин свою родную деревню, когда приезжал туда из Армии в отпуск, незадолго до начала войны.

Такой, рассчитывая, видимо, на чудо, он хотел увидеть спустя год, пролетая на второй день после освобождения Медыни от фашистских оккупантов на У-2 рядом с родной деревней. Сердце бойца не вытерпело, и самолет приземлился недалеко от Логачева, на поляне. Обгорелые трубы, сиротливые, навевающие ледяную тоску, встретили старшего лейтенанта Балакина...

– Вот такова моя комсомольская молодость, – закончил рассказ директор Медынского райтопа Георгий Васильевич Балакин.

II

Откуда взялись эти парни в деревне Брюхово, толком никто не знал. Ходили слухи, что когда-то лет семь-восемь назад, они учились в Москве в институте, но за крамолу были исключены и даже будто бы высланы в здешние края. Постепенно эти рассказы и слухи приутихли: народ в то время привык к странным явлениям (время-то было революционное), и парни, благодаря своему живому нраву и уму, прижились в деревне.

...День обещал быть жарким. Утренний туман рассеялся быстро. Роса испарилась. Трава сохла. Косари, усталые, потные, шли завтракать. Аня Бабышкина – восьмилетняя девчонка – нянька местного кулака, работавшая на сенокосе вместе с батраками, плелась сзади. Когда садились к котлу с дымящимся варевом, хозяин раздавал работникам ложки. Анютка

пришла последней и ложки, как на грех, ей не досталось. Маленькая, обиженная, она горько безутешно заплакала.

Вот тогда-то, наверное, случайно, и подошел к ней один из бывших студентов, кажется, Степан, участливо тронул за плечо и сказал сочувственно:

– Что, девка, горек хлеб хозяйский, – а потом вздохнул, взглянул в детские наивные глазенки и добавил, – учиться бы тебе надо, а не гнуться на чужой стороне.

А вскоре деревня судила да рядила о новой затее «студентов». Решили они, как говорили, ликвидировать безграмотность среди местного населения.

Зажиточные мужики (по сути дела, кулаки) косились на парней: не дело это крестьянину грамоту знать, ни к чему вовсе. Сторонники же новой затеи – беднота, сокрушались, что нет подходящего места для ученья и нужных пособий. Но выход был найден. У бабки Пелагеи выпросили от старого кухонного стола крышку, покрасили ее в черный цвет, и стала из крышки школьная доска для письма. Занятия решили проводить в крестьянских домах по очереди, то у одного в доме, то у другого.

Всю зиму бегала Анютка урывками в «школу», и к весне на радость свою и учителей читала уже, хотя по складам, книжки.

...Начало тридцатых годов на деревне, как и по всей стране, было бурным. Создавались колхозы. С собственническими пережитками люди расставались нелегко. Горячилась «комса». Анна Бабышкина – член комитета местной комсомольской ячейки на собраниях зывала: поменьше ухарства, ребята, среди людей пропаганду вести надо.

– Как?!

– Агитбригаду создать следует. Выступим в своей деревне, в соседней.

Идея понравилась. Начали ее претворять в жизнь. На первых порах решено было поставить спектакль. Тема революционная.

Премьера состоялась, конечно, в своей деревне. Спектакль удался. Много было интересного в постановке, но самым примечательным явлением были, пожалуй, декорации, состоявшие в основном из лозунгов и призывов.

Потом были многочисленные поездки к соседям – за 15-20 километров. «На своих двоих» после рабочего дня отправлялись агитбригадовцы к крестьянам отдаленных деревень – несли пламенные слова и убеждения партии. Интересное было время. Комсомольская кровь кипела в жилах, бродили дерзкие мысли в голове.

...Сейчас Анна Алексеевна Бабышкина – председатель Никитского сельсовета, вспоминая о комсомольской юности своей, мечтательно закрывает глаза и говорит голосом, полным восторга и радости:

– А какая была дисциплина у нас! Звание комсомольца несли мы с честью. Помнится, как-то агроном Иванов, член нашей комсомольской организации пришел в клуб чуть-чуть «навеселе». И незаметно даже было, что он выпивши, – так немножко запах чувствовался. О, что тогда было! Сразу же собрали комитет и такой нагоняй устроили «любителю спиртного», что он потом чуть ли на коленях заверял всех – не будет больше подобного. Люди в деревне после этого случая к нам еще с большим уважением относиться стали.

Да, авторитет и действительно у комсомольцев был немалый. Шутка ли, Анну Бабышкину, семнадцатилетнюю девушку на колхозном собрании бригадиром назначили. А в бригаде-то немного немало – 42 человека. А вскоре возглавляла уже Анна и весь колхоз.

– Молодежи было у нас много, – вспоминает Анна Алексеевна, – работать мы умели. Колхоз богатеть начал. Первыми в районе из всех прочих колхозов приобрели мы грузовой автомобиль. Сейчас – это даже забавным кажется, какой он был новинкой и диковинкой на селе. Помнится, комсомольцы наши пляской его встречали. И росло бы наше молодежное хозяйство, крепло год от году – да война помешала.

Голос Анны Алексеевны становится глуше, лицо суровым, в глазах появляется строгость.

– Война... К этому времени я была уже членом партии...

III

– Володя! Вы помните войну?

Владимир Яковлев долго и задумчиво смотрит куда-то мимо собеседника, потом нехотя отвечает.

– Помню.

Тихо опускается на деревенскую улицу августовский вечер. Один за другим вспыхивают огоньки электрических лампочек в окнах домов напротив. В открытое окно ветер заносит свежий ароматный запах зрелых яблок из совхозного сада. Слышится смех. Это молодежь идет в клуб: привезли новый кинофильм.

Мне неловко тревожить в этот мягкий спокойный вечер в человеке тяжелые воспоминания. Кто я есть? Что знаю? В войну я был несмышлеником, ходил под стол пешком, да и жили мы далеко в тылу. Помню лишь День победы. Красный флаг над колхозной конторой. Улыбки у прохожих на улице. Радостный бегу домой, а там мать плачет. Позднее понял почему – убили отца.

– А мой отец умер после войны. Сказались немецкие приклады. Все эти места были немцами оккупированы. Отец мой инвалид был. Жил в оккупации вместе с нами: с женщинами, да малыми ребятишками. Во время войны мне ведь было тоже не так уж много лет. Как-то отца немцы угнали за деревню окопы рыть, а мы с братишкой в соседнюю деревню пошли к тетке. Отец видел. А тут как раз начался налет наших самолетов. Бомбежка. Отец было кинулся к нам, хотел в подвал спрятать, немцы и набросились на него. Прикладами избивать стали. Да все по голове, по спине. А батька-то горбатый был.

Молчим.

– А что, после войны долго восстанавливали хозяйство? – продолжаю спрашивать.

– Восстанавливали? – горько усмехается Владимир, – заново все отстраивать пришлось. В землянках жили. Немцы, отходя, все кругом пожгли. Ведь, где стоит наша центральная усадьба, ни двора, ни кола не оставили. А раньше какая деревня была. Больше 400 домов. Но Вам об этом старожилы лучше расскажут – они помнят довоенную жизнь...

– Да, – вздохнул Михаил Артемович Козлов, – деревня была богатая. Ореховней звалась. Колхоз тут раньше был. А до колхоза кулачье властвовало. Шерстобитные мастерские содержали, трактир был. Знаешь, как новая жизнь давалась тяжело тогда. Как ни говори, тяга к собственности велика. В колхоз шли с сомнением. Да тут еще кулаки ведут пропаганду. Но председатель был молодец у нас. Тверд, крут и партийную линию прямо вел. Разбогател колхоз. Школу десятилетку построили, больницу. Добрую память оставил о себе наш председатель. Егор Голенков. А война началась, первым ушел на фронт. Погиб он. Эх, да мало ли людей положили свои головы за родную землю-матушку...

– В войну я танкистом был, – поведал мне Иван Васильевич Волченков. – По окончании войны, после демобилизации ни на завод, ни на фабрику не поехал, а сразу сюда. А здесь все повыжжено. Еще раз пришлось фронтовикам, прибывшим на родную землю, пережить горечь военного времени. Но мы работали. И вот посмотри, какой совхоз возник на пустом месте. Интересное это дело хлеб растить, да вот беда: молодежь что-то не очень у нас приживается.

Залечены раны, нанесенные войной. На месте старой Ореховни стоит центральная усадьба совхоза «Поляна». И есть здесь и школа, и медпункт, и пошивочная мастерская, и

парикмахерская, и баня, и Дом культуры. Строятся каменные жилые дома. Но молодежи в совхозе не очень много.

– Разговариваешь с ребятами, – делится мыслями далее Волченков, – каждый готов за большое дело отдать всего себя. Хорошо, но великое складывается из малого. В нем-то и надо себя проявить. Я не знаю, о чем думал Егор Голенков, организуя в районе маленький колхоз, но в результате он делал великое дело. Недаром мы сохраним память о нем...

Хорошо сказано! Впоследствии, опираясь на эти жемчужные крупницы высказываний своих давних знакомых, сделал я, работая в «Сельской жизни», обзор писем трудящихся, озаглавив его непритязательным, но, кажется, притягательным заголовком «Родники нашей памяти». Думается, он имеет полное право занять очередное место в этой книге.

По мотивам редакционной почты

Еще раз вчитываюсь в письма. Вроде бы много подобных им прошло перед глазами – взволнованных, берущих за душу и сердце. Но в этих есть что-то такое, особое.

«У каждого края, города и даже самого небольшого села, – пишет А. В. Федотов из татарского селения Большое Шаймурзино, – есть своя история, своя судьба. У больших населенных пунктов она известна – стоит взглянуть в учебник или в специальный справочник. А вот наша деревня – всего лишь небольшая точка на карте района. Она – глубинка. Но, где бы ни были люди, они всегда хотят, чтобы память о них самих, об их отцах и дедах, об отчем крае вечно жила в народе. И вот мы решили создать музей».

Да, это письмо о нашей памяти и любви. А вернее, что особенно важно, о ее сохранении. Мы знаем: без национальной памяти нет национальной гордости и чувства собственного достоинства. К этой памяти, огромной и всеобъемлющей, ведут нас тропинки, по которым ходили наши отцы. Она складывается из осмысления нами их поступков и дел, и как счастье большое и общее, невозможно без счастья под каждой крышей, так без «маленькой» памяти и любви к отчому дому не может быть и любви к Отечеству.

И на этом пути от малого к большому, оберегая и делая его светлым и торным, стоят они, хранители нашей гордости и духа, рядовые бойцы культуры, – музеи. Те самые, на общественных началах, повседневно воспитывающие наше самосознание, берегущие от забвения былое. Я читаю письмо товарища Ухваронка о музее в колхозе «Аврора», что в Восточно-Казахстанской области, и вижу за работой отряд школьников-следопытов. От дома к дому идут они, записывая сведения о погибших на фронте, рассказы о селе и округе, собирая свидетельства и документы, предметы старого обихода. И чувствую их просветленность, ибо память, если она настоящая, – это душевный труд.

Я вижу энтузиастов из харьковского села Высокополье, о которых поведал М. Коваль, рассылающих письма с приглашением посетить это украинское село родным и близким тех, кто сложил головы, освобождая его от фашистов. И чувствую спокойную, уверенную работу высокопольцев, потому как память, если она осмысленная, – постоянный долг.

Но наша память не только взор, устремленный в прошлое, она материал для раздумий и действий сегодняшних. Не об этом ли пишет сотрудник Долгоруковского музея из Липецкой области Н. И. Филимонов: «Быть может, потому и много в нашей округе молодежи, что столь бережно храним мы память о тех, кто славно трудился тут. Они, ветераны, постоянно с нами в заботах и радости. С ними наше уважение к делам и свершениям их. А экспозиции, посвященные им, – поистине обобщенный опыт передового и нового, которым пользуются у нас и поныне». Нет не зря говорят: едины бывшее, сущее и грядущее. И не надо искать далеких героев, когда хотим показать людям, особенно молодым, идеал человека идейно убежденного и мужественного, – они рядом.

Велика и деятельна истинная память. Она как вера и как ручательство, что не забудут люди свое вещее и вечное изначалье. И тем более горько встречаться с фактами иного порядка. Пусть их немного, писем, в которых они приводятся, единицы, но они, словно голос совести нашей, беспокойны, тревожны. «Доброе было дело задумали у нас, – пишут нам из одной деревни, – оформили стенд с портретами ветеранов труда, собрали почетные грамоты прошлых лет, вымпелы, знаки. Установили все это в библиотеке. А там ремонт затеяли. Куда подевать реликвии, фотографии? Можно бы в Дом культуры. Нет, не оказалось там места. И свалили под лестницу экспонаты. Вот и ведем после этого воспитательную работу, если так вот мы уважаем тех, кто строил колхозы, вынес военные трудности».

Надо сказать, что после вмешательства редакции здесь нашли место для стенда, привели его в надлежащий вид. И поэтому я не буду называть точного адреса и имен равнодуш-

ных людей. Но обратить внимание на то, что память – наш воспитатель, следует. И давайте подумаем, как же может она воспитывать, если предать забвению тех, кому мы обязаны жизнью, нашей славой и доблестью? И не больно ли видеть (к сожалению, бывает такое) заросший бурьяном цветник или дорожку у памятника герою войны – уроженцу села? И не горько ли слышать от того или иного незадачливого работника сельсовета или хозяйства здешнего, что-де, бывает, руки не доходят.

Говоря о сохранении памяти, я, конечно же, не имею в виду, что в каждом селе надо иметь мемориал или музей. Достаточно, быть может, и уголка в местной школе или стенда в том же Доме культуры. Важно, чтобы было сделано с душой и любовью, пробуждало у посетителя добрые чувства признательности и долга.

Память... Она хранится в наших сердцах и остается навечно в этих вот обелисках, что встали у дальних дорог, в парках и скверах. Она в наших семейных альбомах, в фотографиях братьев, отцов и дедов, смотрящих на нас со стендов сельских музеев.

Память... Она символ вечности нашей. В обыденной жизни размышляем мы, верно, об этом нечасто, но в моменты особые начинаем чувствовать: в потоке чередующегося времени ты не пылинка и не крупница, а часть общественного бытия. И промелькнут в сознании твоём вдруг увиденные то ли в кино, то ли в школьном учебнике Мамаев курган и солдат в Трептов-парке, мемориал в Ульяновске и «Тысячелетие России» в Новгороде. Ты задумаешься и поймешь, что ничто на земле не проходит бесследно, а такие слова, как «Родина», «род», «родня», – слова одного и того же корня. И ты неожиданно заметишь: в бронзовом облике солдата революции проступают черты и твоего прадедушки, бородатого, с пристальным взглядом, что на выцветшем снимке стоит среди первых колхозников в музее родного села. И забьется радостно сердце твое, и скажешь ты, благодарный, свое первое спасибо тем, кто сохранил этот снимок, дав возможность тебе прикоснуться к живительному роднику памяти. А коль так, значит, быть нам и впредь великими духом, славить Родину, крепить ее мощь.

Народной памятью, заботой памятью коммунистов зажжен вечный огонь у могилы Неизвестного солдата, бойцы и труженики подняты на гранитные пьедесталы, пробитые пулями каски, крестьянские сохи заняли место в музеях, больших и малых. «Никто не забыт, ничто не забыто» – эти слова бьют набатом в наши сердца, и мы говорим: это нужно живым. Это нужно будущим поколениям.

Часть II. Взялся за гуж

*Душа простонародная,
Советские деньки...
А вспомнятся (негодные),
Кусаешь локотки.*

Г.П.

Величие подвига

В своих «Воспоминаниях и размышлениях», маршал Победы Георгий Константинович Жуков, посвящая мемуары рядовому солдату советской Армии, заметил с восторгом: какое прекрасное поколение людей было выращено до войны. Да, это так. И верно то, что оно было именно выращено. Людей воспитывали на прекрасных идеях любви к родине, своему народу, почитания предков, единения, труда. Помня, что идеи овладевшие массами, становятся материальной силой. И они стали ею. Перед этой могучей силой и не устоял смертоносный фашизм.

До поры до времени и мы, подрастающее поколение, дети отцов-фронтовиков, возвращались так же, как и они. А, повзрослев, пытались передать свои убеждения и память вступающим в жизнь ребятам и девушкам.

Мне попала на глаза небольшая заметка тех лет, написанная после того, как побывал на Белгородчине, встретился с сотрудниками прохоровской районной газеты. Не могу удержаться, чтобы не привести ее.

«Была война. Кругом хозяйничала смерть, но люди думали о жизни. Солдат, чтобы оставить память о себе посадил две вербы во дворе моей матери». Так начинается новелла П. Клевогиной, которую опубликовала газета «Коммунист» – орган Прохоровского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Белгородской области. В пятьдесят газетных строк помещается этот рассказ. Но какое-то особой силы пронизывающее чувство овладевает тобою после прочтения его.

Прохоровская земля – земля «огненной дуги». И сейчас хранит она следы величайшего в истории танкового сражения. Сверните в любой перелесок с тропинки, и вы найдете полуистлевшие пулеметные гильзы, осколки снарядов и мин. Обелиски и памятники возвышаются здесь в каждом населенном пункте. Районная газета «Коммунист» систематически рассказывает о героях войны. Воспоминания фронтовиков, материалы красных следопытов, репортажи из музеев славы не сходят с ее страниц. И публикации эти не оставляют читателей равнодушными. С большим интересом читаются статьи, зарисовки, очерки под рубриками «Подвигу жить вечно», «Поиск продолжается». Главный маршал бронетанковых войск Герой Советского Союза П. А. Ротмистров, ознакомившись с работой газеты и красных следопытов сельских школ района, прислал им поздравление и благодарность: «Большое вам солдатское спасибо от всех ветеранов 5-й Краснознаменной гвардейской танковой армии». Немало благодарностей приходит и от родственников погибших солдат, узнавших из газеты о подвиге близких им людей. Вырезки с рассказами о них пересылаются, как правило, на родину героев.

Большое воспитательное значение имеют встречи ветеранов с молодежью, организованные редакцией. После таких встреч редакционный портфель пополняется содержатель-

ными материалами, интересными снимками. Удачной можно назвать и такую форму патриотического воспитания, используемую творческим коллективом газеты, как сбор за «круглым столом» той или иной семьи, в которой во время войны кто-либо сложил голову в борьбе с фашизмом. Вот номер газеты, вышедший после речи Леонида Брежнева на совещании в Хельсинки. Целая полоса в ней посвящена рассказу о встрече с семьей многодетной матери Матрены Дмитриевны Ерохиной, муж которой погиб в 1943 году. Старая женщина говорит о мире, о счастье работать и жить на земле без войн.

Высоко к небу взметнулись солдатские вербы у дома матери Клевогиной, а еще выше поднялась память о солдате, посадившем их. Благодарную память о нем, о всех тех, кто отстоял право жить на земле спокойно, всемерно поддерживает газета «Коммунист». Тема военно-патриотического воспитания на ее страницах – одна из главных.

Целенаправленная духовно-нравственная воспитательная работа приносила хорошие плоды. В своей пропаганде «высокого» в человеке, мы обращались в первую очередь к истокам развития самосознания людей, любви к родному очагу, семье, близким людям. «В них обретает сердце пищу», как гениально, повторю, заметил Александр Сергеевич Пушкин, известное стихотворение которого послужило прекрасным отправным пунктом в глубоком исследовании «самосознания» и «самостояния» человека, формирующих, в частности, базу семейно-родовой культуры. Семья – частичка Родины, любовь к ней – наш общий талисман.

Воспитанию любви к малой родине, благотворности изучения собственного родословия – посвящали мы свои многочисленные выступления, привлекали авторов, четко осознающих, что потеря данного «по воле Бога самого» истока может оказаться решающей силой в чреде «спусковых механизмов», уничтожающих ту или иную цивилизацию. Предупреждения такого рода слышались и в откровениях людей особой организации – поэтов, на генном уровне чувствующих «веянье тонкого хлада», и не случайно получивших в народе меткое определение – неопознанные духовные объекты (НДО). Но главным образом мы опирались здесь на мнения людей, на их почту, что мешками шла в ту же «Сельскую жизнь». И по мотивам этой почты было написано следующее эссе.

Кто дважды счастлив

В одной умной книге довелось мне прочитать интересное изречение, смысл которого сводится к следующему. Если мы хотим узнать, что вырастет из маленького семечка, то нам надо взглянуть на дерево, с которого оно упало, потом спуститься вниз по стволу до самых корней и посмотреть, какая почва их питала.

Не знаю, читала ли эту книгу А. В. Карпенко, что живет в станице Павловской Краснодарского края и чье письмо держу я в руках, но мысли, которыми делится с нами она, очень и очень перекликаются с мудростью автора. Да это, наверное, и должно быть так. Ведь Анна Васильевна пишет о преемственности и связи поколений. Взяв за пример знакомую ей трудовую семью супругов Натальи Ивановны и Петра Андреевича Ткаченко, в которой все семеро детей продолжили хлеборобское дело матери и отца, автор письма приходит к нехитрому, но очень важному выводу: «Только труд и добрая родительская душа могут воспитать таких сыновей и дочерей, сформировать династию истинных земледельцев».

Династии. Трудовые, рабочие. Люди потомственных профессий. Как часто, говоря о них, мы по праву называем в этом случае и родителей, и детей корневой основой, опорой того или иного трудового коллектива. И это действительно так. Выросшие в обстановке особой взыскательности, познавшие добрый пример трудолюбия – пример естественный, неназойливый, исходящий от старших, – эти люди приобретают, как правило, ту самую «привычку к труду благородную», которая так необходима человеку и так ценима в народе.

Работа наша нелегкая, если не любишь работать, а если любишь – другой разговор, – говаривал давний знакомый мой глава большой династии сельских механизаторов алтайский хлебороб Иван Михайлович Воронков. Бывалый человек, исконный труженик, на себе проверивший истину: человек любит больше то, что сделал своими руками, он и детей воспитывает в этом же духе, привлекая к работе их в мастерских или в поле с самого раннего детства. Делается это настолько обычно, что ребята – а их у Воронкова двенадцать, – помогая отцу смазать тот же трактор, искренне думают: без них он и не справился бы. С годами детское, быть может, наивное желание «помочь папке» перерастает в привязанность к машинам, к земле.

Говорят, ни в какие времена и никто не отпускал своих детей из дому раньше, чем те не испытают первую любовь. Она входит в сердце юноши или девушки в пятнадцать семнадцать лет и навсегда закрепляется на дне души. После этого, куда бы человека ни бросала судьба, он постоянно станет ощущать тяжесть разлуки с родиной, с местами, где вырос, с людьми, которых он полюбил. Как важно это понять и взять на вооружение, воспитывая детей!

Рано или поздно вызревает в нас семя, заложенное родителями. Разным бывает «родительский посев». Не потому ли с такой грустью читаю я письма от тех, кто когда-то оставил отчий дом по наущению самих же отцов и матерей. Мне думается: такие родители еще пожалеют об этом, запоздало взгрустнут от собственной одинокости (сколько горьких исповедей приходит на эту тему в редакцию!), о том, что не сумели передать свое дело прямым, непосредственным наследникам.

Я многого не разделяю в письмах и тех молодых людей, что ищут счастье свое и «романтику» где-то далеко-далеко от родной околицы. Не мною сказано: крестьянство должно быть потомственным. Мы знаем о бедах деревень и сел, оставленных молодыми людьми. Не будем говорить о причинах этого: они известны. Положение сейчас меняется. Благоустроенные квартиры, новые дома и многое другое привлекают ныне в колхоз или совхоз даже городских жителей. Отрадное явление! И все же будем откровенны: эти люди не крестьяне. Не спорю, будут они, возможно, добрыми механизаторами, толковыми слесарями

и токарями в мастерских, где много теперь надо специальностей, но, как правильно было кем-то замечено, разбудит ли их шум полой воды, курлыканье журавлей, пролетающих над селом, мычание коровы, возрадуются ли они первой проталине, мягким, пушистым сережкам на вербе, яровым всходам после майского дождя, запаху спелого хлеба! Многие теперь решают машины – это так. Но любая машина заработает лучше, если будет управлять ею человек, у которого теплится в сердце крестьянское начало, зов родной земли.

– Я почему ребят всегда за собой таскаю! – говорил мне Герой Социалистического Труда донецкий механизатор Владимир Андреевич Латарцев. – Потому что хочу, чтобы, учась держать молоток в руках, дети мои жизнь понимать учились, людей труда хлеборобского. Вы вот послушайте как-нибудь приятеля моего Николая Лыфенко. Как он говорит о кукурузе своей! Словно поэму читает. Но это для того, кто любит и понимает крестьянскую работу, для другого же его разговор интересным, быть может, и не покажется. И пройдет этот другой мимо Николая Федоровича, не увидев в нем ни беззаветного труженика, ни богатейшей души человека. А я мечтаю, чтобы парни мои любили его и таких, как он, понимали их с полуслова. Будет такое – станут они хлеборобами, людьми настоящими, уважаемыми.

«Золотую нитью» назвала преемственность и связь между поколениями мудрая женщина, труженица из харьковского села Африкановка Мария Михайловна Губина. В одном из писем прислала она собственное стихотворение, написанное на могиле отца-хлебороба, ставшего в лихую годину воином:

*Давно ты распрощался с нами.
Не видишь зреющую рожь.
Но ты живешь. Ты в нас живешь.
В мир смотришь нашими глазами.*

Я читаю эти стихи, вырвавшиеся из глубины благородного сердца, и вижу Марию Михайловну, какой видел ее в одну из наших встреч – с золотой звездой Героя Социалистического Труда на груди, в окружении внуков, ребят местной школы. И думаю: добрая почва питает этих людей, глубоки у них корни. Значит, быть нам и впредь великими и могущественными. И еще я думаю о том, что поистине счастлив тот, кто нашел на земле занятие по душе, но дважды счастлив, – кто и в детях увидел продолжение дел своих.

Взялся за гуж

Сорок пять тысяч центнеров зерна намолотило за сезон семейное звено алтайского механизатора И. М. Воронкова. Своим самоотверженным трудом семейный коллектив убедительно продемонстрировал, что люди потомственных профессий – опора современного села.

О большой механизаторской династии Воронковых – мой рассказ.

Усталости как и не было – за поворотом показался родной поселок. Окаймленный со всех сторон березовыми рощами, он в лучах заходившего осеннего солнца был похож на живописную картину в золотом багете. На пороге родного дома стояла мать. Без платка, в легком платье – она будто и не уходила с крылечка все три недели, пока работали они в дальнем хозяйстве на уборке.

Улыбающиеся, довольные, сыновья обнимали мать, у которой для каждого было запасено и доброе слово, и нежный взгляд.

– А батька-то, батька-то какой герой! – восклицала Екатерина Федоровна, глядя на приехавшего с сыновьями мужа, – помолодел даже, с молодыми работая.

Встречать старших высыпала ватага младших братишек и сестренки. Весело, шумно заходило семейство Воронковых в дом.

Случай свел меня с Воронковыми в момент возвращения их в родное село из совхоза «Бурановский», где семейное звено помогало убирать пшеницу. Приглядываюсь к героям алтайской нивы. Какие же они? Добродушные улыбки, у всех голубые глаза. Самому старшему из сыновей, работающих в звене, еще нет и тридцати, младшему едва за двадцать. Немножко резковатый Сергей, сдержанный Виктор, любопытный Михаил, застенчивый Валерий – они стояли в комнате вокруг отца. Раздеться еще не успели, и в своих комбинезонах с черными капюшонами, опущенными на лоб, походили чем-то на былинных витязей.

Глядя на счастливых ребят и мать, я невольно припомнил слова, сказанные секретарем парторганизации совхоза Н. Т. Чичериным в адрес Ивана Михайловича: «Свою любовь к механизаторскому делу он привил и своим детям. Их у него двенадцать».

На Алтае должность хлебороба – самая почитаемая. Здешний житель, чем бы он ни занимался в настоящее время, непременно упомянет в разговоре, что он тоже причастен к труду земледельца.

О мастерстве, умении, таланте любого человека в крае нередко судят по отношению его к хлеборобскому делу. Мне довелось слышать, как отвечала на восторженные отзывы читателей о творчестве Василия Шукшина его мать – простая крестьянка Мария Сергеевна. «Хорошо писал Вася, хорошо. Да как же иначе-то. Он – крестьянин. Все знал, все умел. И зябь подымать, и хлеб убирать».

Насколько же, стало быть, велик тут престиж крестьянского звания, насколько огромно уважение к нему, если по хлеборобской профессии равняют другие человеческие занятия. А уж о любви и гордости за свою профессию тех, для кого хлебопашество становится делом всей жизни, наверное, и говорить не стоит.

Рано усвоил Иван Воронков истину, что человек любит сильнее то, во что больше вложил труда. Об этом ему говаривал первый его учитель – тракторист Григорий Пастухов. Давно это было. Еще в далекие тридцатые годы, когда крестьянство выходило на дорогу новой жизни, когда волнующее, загадочное слово «колхоз» только что появилось в лексиконе селянина. Нелегко рушились в ту пору многовековые частнособственнические устои в крестьянской психологии, и в ломке их немалую роль сыграли первые трактористы. Это они на своих «путиловцах» запахивали межи, несли на село дисциплину и организованность

рабочего класса. И против них в первую очередь обрушивались вражеские силы. Помнит Иван Михайлович сожженный в их селе трактор, избитого кулацкими сынками механизатора Григория Пастухова.

Как живой, и сейчас стоит перед глазами достойного ученика первый наставник. Суровый и добрый, умеющий, где надо, потребовать строго, а где и шуткой подбодрить. И поныне помнит науку старшего товарища Иван Михайлович, рассуждая о механизаторском звании, как и он: «Работа наша нелегкая. Но это, если не любишь работать. А если любишь – другой разговор».

Воронков и детей воспитывает в таком же духе, привлекая их к работе в мастерских и в поле с самого раннего детства. Делается это настолько естественно, что ребята, помогая отцу смазать трактор, искренне полагают: без них он и не справился бы. С годами детское желание «помочь папке» перерастает в привязанность, в любовь к машинам, к земле. И уж тут Иван Михайлович сам начинает считать: без ребят ему было бы трудно.

У Воронкова дел что зимой, что летом невпроворот. К нему, специалисту первого класса, токарю, наладчику топливных насосов, беспрестанно обращаются за помощью другие механизаторы. Он не отказывает.

– Нынче даже не было времени перед уборкой комбайн свой перебрать, – признался мне Иван Михайлович, – хорошо, ребята выручили, отремонтировали машину.

– Какие ребята? – спрашиваю.

– Коля и Саша, – отвечает. – Первый в девятом классе учится, второй – в шестом.

К старшим сыновьям отец относится требовательно. «Молодежь есть молодежь, – размышляет он. – И погулять любит, и поспать потом. Понятное дело. Только ведь и работу за нас никто не сделает. Потому и толкую: взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Нынче отец и сыновья создали на уборке семейное звено. Пять комбайнов входило в загонку. Результат работы записывался на звеньевое, а не на каждого работника в отдельности, как раньше. Упростился учет. Но главное преимущество звеньевой системы не в этом. Взаимовыручка, помощь друг другу, плюс строгая дисциплина и требовательность, исходящие от главы семьи, принесли успех. Директор совхоза «Коммунар», где работают Воронковы, Григорий Прохорович Гриценко, подводя итог работы звена, сказал как-то:

– Нам бы в хозяйстве иметь пять таких уборочных коллективов – и больше не надо. Замечу, что в «Коммунаре» только зерновых сеют двенадцать тысяч с лишним гектаров. Может, через край, как говорится, хватил руководитель, увлекся? Не похоже. Результат Воронковых сам за себя говорит. В Дубровском отделении, где они нынче за три недели убрали хлеб одни, раньше по месяцу работало восемнадцать комбайнов.

На алтайской ниве нынешней осенью трудилось 732 семейных звена. По численности звено Ивана Михайловича самое большое. И выработка на комбайн в нем самая высокая. Убрав урожай в своем хозяйстве, звено выезжало помогать соседям. И вот теперь, вернувшись и сидя уже за столом, они ведут разговор все о том же – об урожае, машинах. Потом самый младший из механизаторов Воронковых, Валерий, расскажет мне:

– В прошлом году демобилизовался из армии, поступать в СПТУ было уже поздно. Так отец и братья вот тут, дома, начали меня готовить к выпускным экзаменам. И что вы думаете? Хорошо сдал!

– Да что вы тут собрание за столом открыли, – нарочито сердится мать, – хоть поешьте как следует, поешьте. Один разговор – о машинах.

– И впрямь, – соглашается старший сын Виктор.

Затем, как бы невзначай, заходит разговор о современном земледельце. Изменился он, что и говорить. Коллективный труд, высокая культура ведения хозяйства формируют и нового хлебопашца. Иван Михайлович вспоминает: раньше случись неурожай – живешь впроголодь. Теперь не то. К тому же как стали землю обрабатывать! Все по науке делается.

Грамотные крестьяне стали. Воронкову-старшему это особенно заметно. Ведь еще на его памяти рядовые механизаторы не имели права в магнето залезать: квалификация низка. А теперь трактористы или комбайнеры обязательно должны знать на уровне техника. И знают, потому что подготовка у них солидная, фундамент прочный.

Перемены в быте, условиях труда происходят, что называется, на глазах. Это замечает и молодое поколение Воронковых.

– В нынешнюю посевную, – говорит Виктор, – я работал на К-700. От зари до зари в кабине машины находился и не уставал.

Новые машины облегчили труд земледельца, сделали его высокопроизводительным. И вот семейное звено Воронковых намолотило за сезон 45 тысяч центнеров зерна! Имена механизаторов из далекого алтайского совхоза «Коммунар» становятся известными всей стране.

...Вечер струился прохладой. Догорали за окном верхушки березовой рощи, желтела в поле стерня сжатой пшеницы. Покой и тишина стояли кругом.

– Красота-то какая! – восторженно произнес Сергей Воронков. – Никуда я не поеду отсюда, буду учиться заочно.

– А я люблю шумную степь, когда и ночью светло от машинных фар, – это говорит Воронков-старший.

Неуемный, беспокойный человек. В войну он был наводчиком орудия, сражался на Курской дуге, под Обоянью. Контуженный, израненный вернулся в родное село. В сорок четвертом. Костыли бросил на станции, шагал проселком, преодолевая боль. Старался выглядеть бодрым, крепким. На другой день вышел в поле, где работали в ту пору женщины да ребяташки. Перед уборкой собрал из «разбитых», списанных машин комбайн и на общую радость односельчан выехал за околицу косить пшеницу.

Вскоре Иван женился. Взгляды на жизнь с Екатериной Федоровной совпадали. Красавица, труженица, хозяйка хорошая.

К матери в семье Воронковых отношение особо нежное и почтительное, ей самые богатые подарки в день рождения, к 8 Марта. Вырастить двенадцать ребяташек, о которых на селе никто худого слова не скажет, дело не шуточное. Для всех хватило у этой чудесной женщины материнского тепла и ласки, столь необходимых каждому человеку.

По случаю приезда корреспондента дети просят мать приколоть к кофточке орден «Матери-героини». И когда она это сделала, гордо посмотрели на меня: какова у нас мамка!

– Мама, спляши цыганочку, – просят младшие дочери Марина и Аня.

– Ой, что вы, детоньки...

– Спляши, спляши, мамка, – подбадривают другие. А отец берет уже в руки гармонь.

– Э-эх! По такому случаю! – и пошла выбивать чечетку счастливая мать.

Сыплет переборами гармошка, хлопают ладошами в такт плясунье ребята, и не верится, что Екатерине Федоровне и ее мужу давно за пятьдесят.

Много слышал я, будучи в «Коммунаре», о дружной семье Воронковых и главе ее – Иване Михайловиче. Как депутат райсовета и сельсовета много сделал он добра для людей. Но запомнился мне он за семейным столом, в родном доме. Счастливый, веселый, жизнерадостный. Годы, казалось, не властны над ним.

На прощание Иван Михайлович поделился своими задумками на будущее.

– Тысяч пятьдесят должны намолотить. Еще один сын вернется из армии. Он шофер. Будет в звене свой водитель.

Понятно, что до новых высот добаться будет нелегко; но в дружной семье дело всегда спорится.

У ЧИСТОЙ ВОДЫ

Замысловато петляя, речка бесшумно крадется среди зарослей кустарника и будто принимает к себе все живое вокруг.

– И все-таки чуть было не убежала от нас река, – говорил первый секретарь Павлоградского райкома партии Владимир Матвеевич Молодан. Я взглянул на него удивленно. Он добавил: – И удержала речушку Валентина Агеева, зоотехник из «Украины».

– «Украина» – хозяйство сильное, и люди в нем приметные, – рассказывал мне по дороге райкомовский водитель и советовал: – Вы непременно послушайте их певцов, зайдите в спортивный комплекс.

– Что верно, то верно. Колхозники наши и отдыхать, и работать умеют, – согласился председатель колхоза Иван Иванович Бабенко. – Для таких и постараться не грех. Да и как иначе, если находишься под постоянным контролем – в одном здании с представителем самого главного органа власти республики нашей работать приходится.

Иван Иванович говорил об этом с улыбкой, но не шутил. Действительно, в той же конторе находится рабочий кабинет депутата Верховного Совета Украинской ССР Валентины Агеевой, той самой, ради знакомства с которой и ехал я в колхоз.

Валентина Константиновна шутку приняла спокойно, с достоинством.

– Так, значит, хотите узнать, как мы речку спасли? – обратилась ко мне. – Что ж, расскажу.

И услышал я поучительную историю. Идя на работу, встретила как-то летом Валентина Константиновна стайку ребятишек, которые явно ее поджидали. Когда она поздоровалась, один из мальчишек вдруг выпалил:

– Тетя Валя, скажите, а дети народ или нет? И если народ, то помогите нам, поскольку являетесь депутатом.

Валентина усилием воли сдержала улыбку:

– Так чего вы хотите?

– Бочаги в речке илом затянуло. Может быть, вы бы где земснаряд попросили? Углубить бы дно.

Земснаряда в колхозе не было. Да и в районе есть ли таковой. Но как откажешь, глядя в эти невинные и верящие в тебя глаза! Пообещала она ребятам «пособить их горю».

– А чем кончилось? – вздохнула Валентина Константиновна. – Пришлось нашему колхозу вкладчину с соседним хозяйством покупать землеройную технику. А когда это сделали да углубили места для купания, задумались: технику-то приобретенную можно использовать и дальше. Стали русло расчищать.

Нет, не зря говорят: решение больших задач нередко начинается с малого. И еще: в любом деле человек заинтересованный нужен. Такой, как Валентина Агеева. Не зря на предвыборных собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты в высший орган власти республики земляки вновь называли ее фамилию.

Мы сидели с Валентиной Константиновной в рабочем ее кабинете. Я смотрел депутатскую папку. Рядом со справками об эффективном использовании удобрений в Днепропетровской области, о дополнительных мерах по усилению охраны природы и другими важными документами, подготовленными для рассмотрения в депутатской комиссии по сельскому хозяйству, членом которой она является, лежали и обычные заявления избирателей с просьбой помочь в разрешении того или иного житейского вопроса.

– Не удивляйтесь. Так и должно быть. Ведь в жизни большое и малое всегда рядом стоят, – сказала Валентина. – Вот видите, жалоба от рядовой работницы. Ее оскорбил бри-

гадир. Непременно разобраться надо и призвать грубияна к порядку. Это не мелочь – защитить достоинство человека.

Много судеб людских вместила в себя депутатская папка. А я подумал: сколько же времени и души отнимают у Валентины Константиновны дела общественные. Ведь у нее, зоотехника, много работы и непосредственно в хозяйстве.

– Главное тут, – объяснила Агеева, – людей видеть, понимать их беды и радости. Был в моей практике случай такой. Казусный, однако со смыслом.

Пришел на прием к ней лучший шофер колхоза и говорит:

– Что же такое творится-то, Константиновна? Сын мой Николка на зоотехника решил учиться. Я ему свое дело нахваливаю, а он – зоотехником, и все тут...

Смотрела она на огорченного батьку и вспомнила, как 15 лет назад приехала сюда, в Булаховку. Колхоз и в ту пору в районе был не последним хозяйством, однако до нынешнего порядка было еще далеко. Тогда без сапог резиновых на ферму не ходили. И вопрос, где найти доярку, то и дело возникал и на общих собраниях колхоза, и на правлении. Колхозники подшучивали по этому поводу довольно ехидно: «Доярок нет, зато советчики есть». Это о специалистах.

Перешагнула Агеева через недоверие это. Нет, не пренебрегла им, но с упорством, свойственным натурам одержимым и цельным, добивалась она улучшения условий труда и быта, подымала продуктивность колхозного стада, повышала престиж профессии животновода. И сдвинулось дело. Девчонки вон метят на ферму прийти после школы, парень в зоотехники собрался. Плохо ли?

– За интересы ребят Константиновна горой стоит, – говорили в Булаховке. – Благодаря им она и депутатом стала.

И – опять со смыслом история. Шло собрание, на которое был приглашен председатель Павлоградского межколхозстроя Михаил Шешук. Руководимая им организация строила школу в хозяйстве, строила из рук вон плохо, но говорили все об этом осторожно. Ссориться со строителями рискованно. И тут встала Агеева.

– Не пойму я, – говорит. – Мы платим деньги, а работу с них спросить стесняемся.

– Правильно! – одобрительный возглас в зале. – Вот бы кого депутатом-то нам! Константиновна за общественный интерес постоит. – И намекнул – Кстати, скоро и выборы...

Ее избрали депутатом в районный Совет и дали наказ: сделать все, чтобы школа в селе вошла в строй в ближайшее время. Выполнила его Валентина Агеева. Правда, баталий со строителями было немало. Одна из них кончилась тем, что Шещука освободили от работы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.